This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

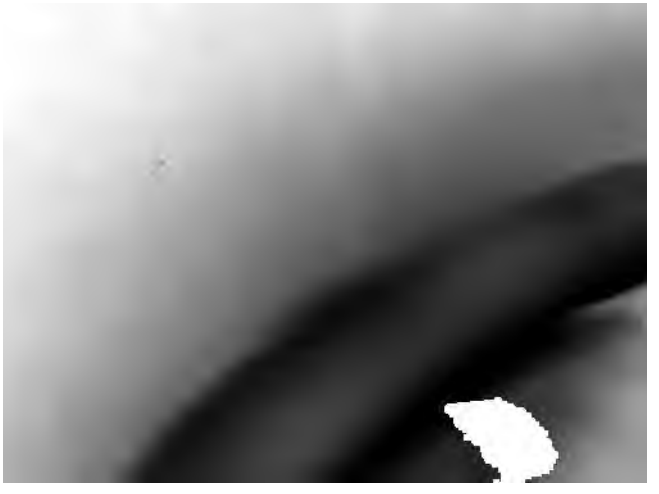
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



ПАМЯТИ

А. П. ЧЕХОВА.

Pamiati A. P. Chekhova

ПАМЯТИ

П. ЧЕХОВА

ЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОСС. СЛОВЕСНОСТИ.

1906.

STANFORD
LIBRARIES

3901.

PG 3433
T25

А. П. Чеховъ былъ членомъ Общества Любителей Россійской Словесности съ 1889 г.*). Онъ не жилъ постоянно въ Москвѣ и не могъ принимать близкаго участія въ дѣятельности Общества, но сочувствовалъ ей и однажды (въ 1893 г.) прислалъ для публичнаго прочтенія свою новую вещь (отрывокъ изъ разсказа „Бабье царство“). Въ 1903 г., единогласно избранный временнымъ предсѣдателемъ Общества, Чеховъ отозвался слѣдующимъ письмомъ на имя предсѣдателя А. Н. Веселовскаго:

„Не знаю, какъ мнѣ и благодарить Васъ за письмо. Объ избраніи своемъ я узналъ впервые изъ газетъ, но не писалъ Вамъ, потому что поджидалъ все время подтвержденія. Это избраніе— честь, неожиданная и незаслуженная, о какой я не могъ даже мечтать. О согласіи моемъ или несогласіи не можетъ быть и рѣчи, я весь принадлежу Обществу и былъ бы счастливъ безконечно, если бы мнѣ удалось показать это не на

*) Подробнѣе отношенія Чехова къ Обществу изложены въ статьѣ г. секретаря, В. В Каллаша („Русская Мысль“ 1905 г., № 8), легшей въ основу настоящей замѣтки.

ПАМЯТИ

А. П. ЧЕХОВА.

Pamiati A. P. Chekhova

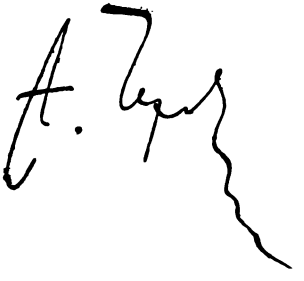
ПАМЯТИ

А. П. ЧЕХОВА

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОСС. СЛОВЕСНОСТИ.

1906.

STANFORD
LIBRARIES



Чеховъ.

Основные моменты его творчества.

Ю. Айхенвальдъ.

Чеховъ.

Основные моменты его произведеній.

Ю. Айхенвальдъ.

Чеховъ.

Основные моменты его произведеній.

Кончина Чехова произвела на многихъ впечатлѣніе семейной потери, — до такой степени роднилъ онъ съ собою, плѣняя мягкой властью своего таланта. Изъ тонкихъ нитей сплеталъ онъ въ своихъ разсказахъ человѣческія души; въ свои миніатюры онъ вмѣстилъ все глубокое содержаніе жизни и обвѣялъ его дыханіемъ проникновенной элегіи. Какъ одинъ изъ героевъ, жившій въ чудномъ саду, онъ былъ царь и повелитель нѣжныхъ красокъ. Писатель оттѣнковъ, онъ улавливалъ почти незамѣтныя переживанія сердца; ему былъ доступенъ самый ароматъ чужой души. Вотъ почему его такъ трудно анализировать,—нельзя, да и грѣшно разбирать по ниточкамъ драгоцѣнную ткань его произведеній: это разрушило бы ее, и мы сдунули бы золотистую пыль съ крылышекъ мотылька. Чехова меньше чѣмъ кого-либо разскажешь: его надо читать, и, читая, мы какъ бы пьемъ его строки, мы боимся пропустить въ нихъ хотя бы единое слово, потому что, несмотря на свою простоту, — правда, дорогую и благородную, оно содержитъ въ себѣ художественный штрихъ наблюдательности, необыкновенно смѣлое и поэтичное олицетвореніе природы или вещей, удивительную человѣческую деталь.

Онъ тѣмъ болѣе держитъ читателя въ плѣну своего тонкаго письма, что психологическая сила скорби и грусти, которой оно проникнуто, велика и своеобразна. Грусть неотразима. Она всегда права. Когда радость придетъ къ вамъ, вы можете ея не принять, и она исчезнетъ, спугнутая горемъ, которое живетъ кругомъ и внутри каждаго изъ насъ. Но когда грусть постучится въ наше сердце, оно непремѣнно откроется для нея, и она ласково обниметъ насъ и заговоритъ, и отъ ея прикосновенія зарождаются тихія слезы. Такъ именно подходитъ къ сердцу Чеховъ: можно ли отказать ему въ гостепріимствѣ?

Для его грусти характерно то, что сперва она звучала у него лишь мимолетной и робкой нотой и къ ея преобладанію онъ пришелъ отъ яркаго комизма, который, впрочемъ, никогда не покидалъ его и потомъ. Чеховъ писалъ въ *Осколкахъ*, въ *Стрекозѣ;* онъ началъ анекдотомъ. Человѣкъ, который прежде такъ смѣялся и такъ смѣшилъ, впослѣдствіи поднялся на самыя вершины горя и создалъ страницы, полныя черной тоски. Конечно, по существу здѣсь нѣтъ ничего поразительнаго. Глубокому духу скоро открывается внутреннее сродство между смѣшнымъ и скорбнымъ, и Чеховъ только повиновался своей стихійной глубинѣ. Несоотвѣтствіе между идеей и ея проявленіемъ въ одинаковой степени можетъ быть послѣднимъ источникомъ какъ смѣшного, такъ и трагическаго. Нелѣпыя слова, которыя не покрываютъ своихъ понятій, безсмысленные поступки, внезапныя измѣненія хамелеона житейскихъ ситуацій, когда, напримѣръ, въ странной группировкѣ человѣческихъ фигуръ встрѣча „толстаго“ и „тонкаго“ принимаетъ столь неожиданный оборотъ,—все это вызываетъ улыбку. И она сама по себѣ является великой разрѣшительной силой и производитъ нравственно-очищающее дѣйствіе. Но когда ненужное, нестройное, неблагообразное заполняетъ всѣ поры существованіи, когда нелѣпица разрастается въ несчастье и своей каррикатурой вытѣс-

няетъ правильныя линіи жизни, тогда одного смѣха уже недостаточно, и онъ естественно переходитъ въ скорбь. Смѣхъ, это — признакъ превосходства, силы, въ немъ есть нѣчто божественное, и на вершинахъ Олимпа громовыми раскатами звучалъ гомерическій смѣхъ боговъ. Но боги могли смѣяться надъ другими, надъ бѣдной землей и ея смертными обитателями, а мы обречены высмѣивать только себя. И горько намъ служить объектомъ смѣшного. Какая драма — быть хотя бы тѣмъ чеховскимъ чиновникомъ, который умеръ отъ генеральскаго гнѣва! Смѣхъ очищаетъ, и потому его признаютъ за желанный и положительный моментъ духа; но смѣшное — явленіе отрицательное, явленіе горестное. Отъ великаго до смѣшного — одинъ шагъ, и потому смѣшное печально. Такъ знаменательно, что физіологическій смѣхъ на своей высотѣ разрѣшается въ плачъ. За смѣшного человѣка обидно, потому что онъ—вырожденіе великаго, вырожденіе человѣческаго. Какъ бы невинна ни была его комичность, но всякое смѣшное дѣйствіе не есть ли все-таки посягательство и грѣхъ противъ Дѣла (im Anfang war *die That*) и всякое смѣшное слово не есть ли посягательство и грѣхъ противъ Слова? Смѣшное не можетъ быть сущностью человѣка, не можетъ быть сердцевиной чего бы то ни было. Смѣшное временно, — проникновенный взглядъ идетъ дальше его. Какъ Поликратъ боялся того постояннаго праздника, который праздновала его душа, какъ онъ для умилостивленія небесной зависти жаждалъ печали, такъ и смѣющійся почувствуетъ наконецъ тревогу и раскаяніе въ томъ, что онъ забылъ серьезное міра, и тѣмъ внимательнѣе и вдумчивѣе обратится онъ къ серьезному. Правда, улыбка не оставитъ его, и въ грусти, которая его осѣнитъ, все же будетъ слышенъ свойственный ей слабый отголосокъ радости, сладости...

И Чеховъ обратился къ серьезному. На чемъ бы ни останавливалъ онъ взглядъ своихъ задумчивыхъ глазъ, все принимало для него очертанія скорби. Миѳическій

царь безумно выпросилъ себѣ у боговъ коварный даръ своимъ прикосновеніемъ все обращать въ золото: и золотымъ слиткомъ становился для него хлѣбъ насущный. Чеховъ такого дара не просилъ, онъ его не хотѣлъ, онъ жаждалъ радости и жизни, — но поневолѣ претворялъ онъ жизнь въ золото грусти, въ осеннее золото увядающихъ листьевъ. Даже картины чарующія, даже благословенное появленіе красоты разрѣшаются у него мелодіей печали. Дважды мелькнули передъ нимъ прекрасныя женскія лица, но онъ испытывалъ „не желанія, не восторгъ, а тяжелую, хотя и пріятную грусть". Ему становилось жаль и самого себя, и красавицы, и тѣхъ, кто ее окружалъ, точно они навсегда „потеряли что-то важное и нужное для жизни". Онъ смутно помнилъ, что „капризная красота осыпается какъ цвѣточная пыль", и онъ переживалъ то „особенное чувство", которое пробуждается въ человѣкѣ отъ созерцанія настоящей красоты. И никогда не покидало его это платоновское воспоминаніе, эта свѣтлая печаль о далекой сферѣ идеала. И воспоминаніе вообще, его чары и его муки, имѣетъ очень важную долю во всемъ творчествѣ Чехова, нерѣдко образуетъ главный колоритъ и настроеніе его разсказовъ. Наши дни проходятъ, и проходя, они оставляютъ въ душѣ свои смутные, слитные образы, и человѣкъ— по свидѣтельству Чехова, особенно русскій человѣкъ— любитъ вглядываться въ эти рѣющіе призраки былого, предпочитая ихъ пестротѣ и шуму текущаго дня. „Что пройдетъ, то будетъ мило" и будетъ ласкать и печалить своей невозвратимой прелестью. „Проходили мимо меня люди со своей любовью, мелькали ясные дни и теплыя ночи, пѣли соловьи, пахло сѣномъ — и все это, милое, изумительное по воспоминаніямъ, у меня, какъ у всѣхъ, проходило быстро. безслѣдно, не цѣнилось и исчезало, какъ туманъ... Гдѣ все оно?"

Если въ роковомъ увяданіи нашей жизни воспоминаніе молодого и ранняго само по себѣ волнуетъ

грустью, то противоположность между счастливымъ прошлымъ и скорбью настоящаго совсѣмъ уже разрываетъ сердце на части. И въ ссылкѣ, сырою, холодною ночью, на рыжемъ глинистомъ берегу ворчащей рѣки, неутѣшно рыдаетъ молодой татаринъ, вспоминая свою родную Симбирскую губернію, свою Волгу, свою красивую, застѣнчивую жену, которая будетъ теперь „ходить по деревнямъ съ открытымъ лицомъ и проситъ милостыню“. Или безсрочно-отпускной рядовой Гусевъ умираетъ въ чуждыхъ водахъ Тихаго океана, и въ бреду грезится ему родная деревня на сѣверѣ („Боже мой, въ такую духоту какое наслажденіе думать о снѣгѣ и холодѣ!“); вспоминаются ему дѣти-племянники, катающіеся на саняхъ, дѣвочка Акулька, которая распахнула шубу и выставила ноги: „глядите, молъ, люди добрые, у меня не такіе валенки, какъ у Ваньки, а новые“...

Обильный выборъ несчастья и горя представляетъ собою жизнь, отраженная въ книгахъ Чехова. Онъ показалъ ее какъ смѣшное, какъ печальное, какъ трагическое. У него есть ужасы внѣшняго сцѣпленія событій, капризныя и страшныя выходки судьбы; у него еще больше внутренняго драматизма, который имѣетъ свой источникъ хотя бы въ тяжеломъ характерѣ человѣка, — напримѣръ, въ злобной скукѣ того мужа, который запретилъ своей женѣ танцовать и увезъ ее домой въ разгарѣ шумнаго уѣзднаго бала. Вообще, вовсе не должна разразиться какая-нибудь особая катастрофа, какая-нибудь „воробьиная ночь“ жизни, вовсе не должно произойти особое несчастье, для того чтобы сердце загрустило. Чеховъ больше занятъ статикой жизни и страданія, чѣмъ ихъ бурной динамикой. Въ самомъ отцвѣтаніи человѣческой души, въ неуклонномъ изсякновеніи нашихъ дней таится неизсякаемый родникъ печали, и развѣ это не горе, что студентъ Петя Трофимовъ, недавно такой цвѣтущій и юный, теперь носитъ очки и смѣшонъ, и невзраченъ, и всѣ говорятъ ему: „отчего вы такъ подур-

нѣли? отчего постарѣли"? И страница за страницей, разсказъ за разсказомъ тянется эта безотрадная панорама, и теперь, когда полное собраніе сочиненій Чехова, въ такомъ странномъ сосѣдствѣ съ „Нивой", сотнями тысячъ экземпляровъ проникло въ самые отдаленные углы русскаго общества и сотни тысячъ разъ повторилась участь рядового Гусева, подъ котораго нехотя и лѣниво подставляетъ свою пасть акула, многіе, вѣроятно, почувствовали испуганное недоумѣніе и страхъ передъ кошмаромъ обыденности. Вотъ, напримѣръ, люди сидятъ и играютъ въ лото, и вдругъ раздается выстрѣлъ: это лопнуло что-нибудь въ походной аптекѣ или это разбилось человѣческое сердце. И есть даже что-то непривлекательное и жуткое въ той, на первый взглядъ, меланхолической равномѣрности, въ той привычкѣ, съ которою Чеховъ одинъ за другимъ выпускалъ свои темные снимки міра. Безъ конца—только смерть положила конецъ—рисовалъ онъ эти страшные образы, и его глаза, раскрытые на ужасъ, какъ будто сами не ужаснулись, только отуманились. Если видишь то, что видѣлъ Чеховъ, нельзя быть спокойнымъ. Хочется крикомъ отчаянія прорѣзать эту невозмутимую тишину, это безстрастіе, съ которымъ художникъ тщательно и мастерски воспроизводитъ безконечныя перспективы скорби, всю человѣческую боль. Если міръ таковъ, то съ нимъ нельзя примириться, и надо биться головой объ этотъ „унылый, окаянный" сѣрый заборъ съ гвоздями, который окружаетъ не только палату № 6, но и всю земную дѣйствительность. „Человѣческій" талантъ, „тонкое, великолѣпное чутье къ боли", соприкосновеніе ужасу—все это обязываетъ: исполнилъ ли Чеховъ свое обязательство? Студентъ Васильевъ, когда увидалъ „живыхъ женщинъ", которыхъ продаютъ, покупаютъ, убиваютъ, перенесъ мучительный припадокъ, — онъ рыдалъ, терзался, онъ едва не сошелъ съ ума: острой болью охватило его недоумѣніе передъ равнодушной неправдой жизни, передъ спокойствіемъ этого снѣга, который

своими бѣлыми, молодыми пушинками такъ же весело падаетъ въ развратный переулокъ, какъ и во всѣ остальныя улицы міра. Но затѣмъ товарищи, которые совѣтовали ему „объективно смотрѣть на вещи“, и „полный, бѣлокурый“ докторъ, прописавшій ему бромистый калій, успокоили, вылѣчили его; полегчало Васильеву, и онъ „лѣниво поплелся къ университету“. Онъ будетъ теперь лѣниво плестись по жизни, и больше съ нимъ не случится припадка, больше онъ не будетъ въ отчаяніи. Онъ привыкнетъ, какъ это и рыдавшему въ ссылкѣ татарину жестоко предсказывалъ его привыкшій товарищъ. Если Васильевъ изъ лучшихъ, онъ уже не станетъ самъ ходить въ ужасный переулокъ, который онъ проклиналъ, но все же будетъ свидѣтелемъ того, какъ ходятъ въ него другіе и какъ „смоленскіе бухгалтеры“ посылаютъ въ него все новыя и новыя партіи женщинъ. И даже въ общемъ контекстѣ чеховскаго міросозерцанія можно прочесть, что и самъ Васильевъ, пожалуй, въ зловѣщій переулокъ еще и еще пойдетъ... Онъ привыкнетъ.

И мы прокляли бы, трижды прокляли бы „замѣну счастья“, миролюбивую привычку, если бы это только она тушила въ людяхъ припадки состраданія, чуткую впечатлительность къ добру и злу. Но то, что сохраняетъ людей для міра, и то, что сохранило въ Чеховѣ спокойствіе, необходимое для поэтическаго творчества, это, въ конечномъ основаніи, сила жизни, сила любви и солнца, которое побѣждаетъ и разсѣиваетъ всѣ тягостные фантомы ночи. Только эта врожденная привязанность къ солнцу, источнику живого, и можетъ объяснить, почему Чеховъ, почему другіе писатели скорби впитали ее въ себя, но не изнемогли отъ нея. Любовь сильнѣе смерти. И она, любовь, просвѣчиваетъ сквозь ту объективную строгость, которою облекаетъ Чеховъ свои произведенія. Онъ часто разсказываетъ неумолимо и холодно — вспомните, напримѣръ, поразительный тонъ „Стараго дома“. Но этимъ художникъ только даетъ свой суровый отвѣтъ суровой дѣйстви-

тельности, передъ которой онъ не хочетъ сдаваться. Онъ словно говоритъ ей: „Ты насылаешь невзгоды и несчастья, ты смѣешься и коварно сплетаешь для людей такія сѣти ужасовъ, отъ которыхъ стынетъ кровь въ жилахъ,—но я не буду сѣтовать и содрогаться, и я повѣдаю объ этомъ спокойно. Того, что происходитъ въ глубинѣ моего сердца, я не покажу тебѣ: это не твоя забота, не твое дѣло. Быть можетъ, въ меня и въ моихъ ближнихъ, какъ въ Лаокоона, впиваются твои змѣи, но я останусь спокоенъ, какъ это подобаетъ художнику, подобаетъ творцу. И если тѣни и тѣни ложатся на мое блѣднѣющее лицо, это не твоя забота, не твое дѣло. Я буду спокоенъ до послѣдняго дыханія и безъ жалобъ и слезъ разскажу о тебѣ другимъ. Ты меня не удивишь, и я мужественно приму твои отравленные дары, твои смертоносные удары: величіе моего сознанія и моей художественной мощи я противопоставлю твоей жестокости“. Подъ слоемъ этого эпическаго спокойствія тлѣетъ однако глубокій, цѣломудренный лиризмъ, и даже онъ сказывается нерѣдко въ самой формѣ изложенія, въ какомъ-нибудь задушевномъ восклицаніи: „о, какая суровая, какая длинная зима!“ Вообще, удивительное сочетаніе объективности и глубоко-интимнаго настроенія составляетъ самую характерную и прекрасную черту литературной манеры Чехова,—этихъ сжатыхъ разсказовъ, гдѣ человѣческое такъ сконденсировано.

„Однозвучный жизни шумъ“ томилъ Чехова, и онъ воспроизвелъ его въ своемъ художественномъ откликѣ. Эта жизнь часто рисовалась ему въ видѣ движенія или дороги: приходятъ и уходятъ поѣзда, уѣзжаютъ, пріѣзжаютъ люди, посѣщая, покидая свои усадьбы, дома съ мезонинами, новыя дачи; мелькаютъ города и станціи, звенятъ колокольчики. Иногда жизненная поѣздка весела, отрадна, сулитъ что-то въ будущемъ, но чаще она обманываетъ, и есть въ ней сила гнетущая и фатальная. Алехинъ долго таилъ отъ любящей и любимой женщины свое чувство,—и вотъ, наконецъ,

онъ признается ей въ своей любви, и цѣлуетъ ее, и плачетъ („о, какъ мы были съ ней несчастны!“); и съ жгучей болью въ сердцѣ понялъ онъ, какъ ненужно и мелко было все то, что мѣшало имъ любить другъ друга, — но уже поздно, поздно, и черезъ мгновенье поѣздъ унесетъ ее далеко, унесетъ на вѣки; жизнь двинется дальше, она не ждетъ, и первый поцѣлуй останется послѣднимъ. Сладкое счастье любви уже такъ близко коснулось молодого путника, и онъ уже обнялъ женщину, очарованную его бѣлокурой головой,—но властно зоветъ его жизненное путешествіе, и на порогѣ показался ямщикъ, и надо изъ теплой комнаты опять двинуться въ снѣжную дорогу, подъ завыванье метели, и вотъ уже „лѣниво зазвучалъ одинъ колокольчикъ, затѣмъ другой, и звенящіе звуки мелкой, длинной цѣпочкой понеслись отъ сторожки“. Надъ юношей насмѣялась жизненная поѣздка, какъ насмѣялась она въ родномъ углу надъ Вѣрой, которую поглотило „спокойное зеленое чудовище степи“. И въ той же степи, на затерянномъ полустанкѣ, тоскуетъ свидѣтель чужого передвиженія, человѣкъ, которому некуда ѣздить и передъ которымъ „женщины мелькаютъ только въ огнахъ вагоновъ, какъ падающія звѣзды“. А сельская учительница, знающая только одну дорогу — отъ школы до города, постарѣвшая, огрубѣлая, измученная своей жизнью въ избѣ, гдѣ отъ сырости потускнѣла даже фотографія матери, единственный остатокъ лучшихъ дней,—учительница ѣдетъ, ѣдетъ весеннимъ бездорожьемъ на тряской подводѣ, и лошадь входитъ въ рѣку, холодную, быструю, мутную; рѣзкій холодъ пронизываетъ Марью Васильевну, калоши и башмаки полны воды, платье и шубка мокры, подмочены сахаръ и мука. А на желѣзно-дорожномъ переѣздѣ опущенъ шлагбаумъ; со станціи идетъ-мчится ликующій, счастливый курьерскій поѣздъ. Марья Васильевна, дрожа всѣмъ тѣломъ отъ холода, смотритъ на его окна, отливающія яркимъ свѣтомъ, „какъ кресты на церкви“. „На площадкѣ одного изъ вагоновъ пер-

ваго класса стояла дама, и Марья Васильевна взглянула на нее мелькомъ: мать! Какое сходство! У матери были такіе же пышные волосы, такой же точно лобъ, наклонъ головы. И она живо, съ поразительной ясностью, въ первый разъ за всѣ эти тринадцать лѣтъ, представила себѣ мать, отца, брата, квартиру въ Москвѣ, акваріумъ съ рыбками и все до послѣдней мелочи, услышала вдругъ игру на роялѣ, голосъ отца, почувствовала себя, какъ тогда, молодой, красивой, нарядной, въ свѣтлой, теплой комнатѣ, въ кругу родныхъ; чувство радости и счастья вдругъ охватило ее; отъ восторга она сжала себѣ виски ладонями и окликнула нѣжно, съ мольбой: мама! И заплакала, неизвѣстно отчего... Да, никогда не умирали ея отецъ и мать, никогда она не была учительницей, то былъ длинный, тяжелый, страшный сонъ, а теперь она проснулась... И вдругъ все исчезло. Шлагбаумъ медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченѣя отъ холода, сѣла въ телѣгу".

Умчался курьерскій поѣздъ и унесъ съ собою призракъ матери, призракъ былого счастья, и ѣдетъ, ѣдетъ учительница на тряской подводѣ въ свою школу, гдѣ ее ожидаетъ грубый сторожъ, который бьетъ дѣтей, и грубый попечитель, котораго надо умолять о присылкѣ дровъ. Умчался курьерскій поѣздъ, и опять „длинной вереницей, одинъ за другимъ, какъ дни человѣческой жизни", тянутся вагоны товарные, и какъ будто нѣтъ имъ конца, нѣтъ конца этой медленной „гусеницѣ".

На дорогѣ жизни между прочимъ интересуютъ Чехова люди чужого движенія, тѣ, которыхъ посылаютъ, которые заняты дѣломъ не своимъ. Характерно, что у него часто выступаютъ лишенные „обыкновеннаго, пассажирскаго, счастья" почтальоны, кондуктора, сотскіе—всѣ эти обреченные на движеніе ради другихъ. Они въ большинствѣ относятся къ разряду хмурыхъ людей, они сердятся—„на кого они сердятся: на нужду, на людей, на осеннія ночи?"; они безчувственны къ

разговору, у нихъ холодная кровь и непривѣтливая душа, какъ непривѣтливо осеннее утро, когда солнце восходитъ „мутное, заспанное, холодное“. Эти скитальцы жизни, которымъ говорятъ: „хлѣбъ твой черный, дни твои черные“, эти перекати-поле и странники, идущіе, бредущіе, — они кошмаромъ встаютъ передъ своими болѣе счастливыми собратьями, и, напримѣръ, судебному слѣдователю Лыжину ночью въ тепломъ домѣ грезится, что по снѣжной полянѣ идутъ, поддерживая другъ друга, старый сотскій и земскій агентъ, прекратившій самоубійствомъ свое безцѣльное жизненное движеніе, свое тяжелое жизненное сновидѣніе; они идутъ, соединенные общностью человѣческой судьбы, и вмѣстѣ поютъ какой-то мистическій хоралъ: „Мы идемъ, мы идемъ, мы идемъ... Вы въ теплѣ, вамъ свѣтло, вамъ мягко, а мы идемъ въ морозъ, въ метель, по глубокому снѣгу... Мы не знаемъ покоя, не знаемъ радостей... Мы несемъ на себѣ всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей... У-у-у! Мы идемъ, мы идемъ, мы идемъ...“

Но въ какихъ бы формахъ ни совершалось движеніе людей, будетъ ли оно свое или чужое, отраженное, каждый изъ его участниковъ одинаково несчастенъ, и недаромъ въ сновидѣніи Лыжина въ одну пару соединены сотскій и самоубійца, нищій физическій и нищій духовный. Всѣ несчастны и всѣ чувствуютъ себя въ мірѣ безнадежно одинокими, какъ одинокъ въ степи зеленый тополь. И не всегда онъ даже зеленый: осенью онъ переживаетъ, обнаженный, страшныя ночи, „когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кромѣ безпутнаго, сердито воющаго вѣтра“; а зимою, покрытый инеемъ, „какъ великанъ, одѣтый въ саванъ“, онъ глядитъ сурово и уныло на одинокаго путника, точно понимаетъ и собственное одиночество. Именно тогда, когда жизнь срываетъ съ насъ зеленую листву молодости и человѣку, „какъ это ни странно“, оказывается уже „пятьдесятъ одинъ годъ“,—тогда особенно думаешь о томъ „одиночествѣ,

которое ждетъ каждаго изъ насъ въ могилѣ", и тогда „звѣзды, глядящія съ неба уже тысячи лѣтъ, само непонятное небо и мгла, равнодушныя къ короткой жизни человѣка, гнетутъ душу своимъ молчаніемъ". Равнодушный, однообразный, глухой шумъ моря, раздававшійся и тогда, „когда еще не было ни Ялты, ни Ореанды", говоритъ „о покоѣ, о вѣчномъ снѣ, какой ожидаетъ насъ". Въ безсонныя ночи думается о холодѣ смерти; „и потемки, и два окошка, рѣзко освѣщенныя луной, и тишина, и скрипъ колыбели напоминаютъ почему-то только о томъ, что жизнь уже прошла, что не вернешь ея никакъ". Чужое одиночество сознаетъ даже чуткая душа ребенка, и когда надъ Егорушкой въ „Степи" склонилась прекрасная графиня Драницкая, „ему почему-то пришелъ на память тотъ одинокій стройный тополь, который онъ видѣлъ днемъ на холмѣ". И для одинокаго, для отжившаго „все, что нравилось, ласкало, давало надежду—шумъ дождя, раскаты грома, мысли о счастьѣ, разговоры о любви — все это становится однимъ воспоминаніемъ", и впереди „ровная пустынная даль: на равнинѣ ни одной живой души, а тамъ на горизонтѣ темно, страшно".

Самое печальное въ жизни, въ уходящей жизни, это — нравственное опустошеніе, которое она производитъ въ насъ самихъ. Мы обманули свои собственныя прекрасныя надежды и обѣщанія; потускнѣли, поблѣднѣли всѣ впечатлѣнія бытія, опошлились и поблекли наши чувства, и духовная старость оледенила всѣ пылкія стремленія, всѣ благородные замыслы. Каждый разъ природа опять чиста и нова, и утромъ такъ свѣжъ росистый садъ, — а наше утро исчезаетъ навсегда, и нѣтъ обновленія усталому сердцу. И какъ это грустно смотрѣть на бѣлый вишневый садъ, на длинную аллею, которая блеститъ въ лунныя ночи, и думать о томъ, что дѣтство и чистота улетѣли навѣки, и грезить о томъ, что „покойная мама идетъ по саду въ бѣломъ платьѣ", — но нѣтъ, это не мама, это „склонилось

бѣлое деревцо, похожее на женщину". „О, мое дѣтство, чистота моя! Въ этой дѣтской я спала, глядѣла отсюда на садъ, счастье просыпалось вмѣстѣ со мной каждое утро, и тогда уже онъ былъ точно такимъ, ничего не измѣнилось. Весь, весь бѣлый. О, садъ мой!.. Опять ты молодъ, полонъ счастія, ангелы небесные не покинули тебя. Если бы снять съ груди и плечъ моихъ тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!"

Ангелы небесные не покидаютъ вишневаго сада, и къ саду возвращается его бѣлая молодость, его чистая весна. Но невозвратно бѣлое человѣка. И сознаніе его утраты налагаетъ свою тѣнь на всю дальнѣйшую жизнь. Бѣлые цвѣты вишневаго сада и призрачная мама въ бѣломъ платьѣ оттѣняютъ все, что есть темнаго въ душѣ у Раневской, и горько, и стыдно ей думать о Парижѣ, о томъ, что въ немъ было и что еще будетъ. Чистота умерла. Но, можетъ быть, послѣ того какъ умретъ и сама Раневская, на ея могилѣ, какъ и надъ бѣдной героиней „Старости", будетъ стоять „маленькій бѣлый памятникъ" и будетъ смотрѣть на прохожихъ „задумчиво, грустно и такъ невинно, словно подъ нимъ лежитъ дѣвочка, а не распутная, разведенная жена"?..

Чистота, бѣлое умираетъ, и жутко, и страшно заглядывать въ глубину собственной совѣсти, какъ жутко стало герою „Дуэли" Лаевскому. „Онъ вспомнилъ, какъ въ дѣтствѣ во время грозы онъ съ непокрытой головой выбѣгалъ въ садъ, а за нимъ гнались двѣ бѣловолосыя дѣвочки съ голубыми глазами, и ихъ мочилъ дождь; онѣ хохотали отъ восторга, но когда раздавался сильный ударъ грома, дѣвочки довѣрчиво прижимались къ мальчику, онъ крестился и спѣшилъ читать: „святъ, святъ, святъ!" О, куда вы ушли, въ какомъ вы морѣ утонули, зачатки прекрасной чистой жизни? Грозы ужъ онъ не боится и природы не любитъ, Бога у него нѣтъ, всѣ довѣрчивыя дѣвочки, какихъ онъ зналъ когда-либо, уже сгублены имъ и

его сверстниками, въ родномъ саду онъ за всю свою жизнь не посадилъ ни одного деревца и не вырастилъ ни одной травки, а живя среди живыхъ... только разрушалъ, губилъ и лгалъ, лгалъ...“

Раневская, Лаевскій и всѣ падшіе имѣютъ еще силы переносить самихъ себя. Но семнадцатилѣтній юноша Володя себя не перенесъ. То нечистое, что въ него проникло, наполнило его острымъ стыдомъ, и его убилъ этотъ стыдъ передъ собою, передъ пошлостью родной матери, передъ пошлостью любимой женщины, очарованіе которой исчезло въ нѣсколько мгновеній. Онъ видѣлъ солнечный свѣтъ и слышалъ звуки свирѣли; солнце и свирѣль говорили ему, что „гдѣ-то на этомъ свѣтѣ есть жизнь чистая, изящная, поэтическая,—но гдѣ она?“ И только вспомнились Володѣ Біаррицъ и двѣ дѣвочки-англичанки, съ которыми онъ когда-то бѣгалъ по песку. И тѣ же дѣвочки, символъ всего чистаго и прекраснаго, вѣроятно, пронеслись въ его темнѣвшемъ воображеніи, когда онъ спустилъ курокъ револьвера и полетѣлъ въ какую-то „очень темную, глубокую пропасть“.

Такъ долженъ былъ Володя прервать короткую нить своихъ искаженныхъ дней; но Чеховъ и вообще показалъ, какъ рано блекнутъ наши дѣти. Онъ любитъ ребенка; утомленный и скорбный, онъ ласково держитъ за руку довѣрчивое и удивляющееся дитя и глубоко, съ доброй улыбкой заглядываетъ въ его маленькую душу; но много печальныхъ страницъ посвятилъ онъ описанію того, какъ „невыразимо-пошлое вліяніе гнететъ дѣтей и искра Божья гаснетъ въ нихъ и они становятся похожими другъ на друга мертвецами“. Искра Божья гаснетъ въ дѣтскомъ сердцѣ, потому что оно въ испугѣ и недоумѣніи сталкивается съ пошлостью взрослаго человѣка, съ драмою жизни. Не только гибнутъ Варька и Ванька, которымъ спать хочется и ѣсть хочется и которые напрасно взываютъ о защитѣ къ міровому дѣдушкѣ, но и тѣ дѣти, которые вырастаютъ въ обезпеченной средѣ, морально погибаютъ,

зараженныя неисцѣлимой пошлостью. И когда-то нѣжныя, кудрявыя, мягкія, какъ ихъ бархатныя куртки, они сдѣлаются сами взрослыми людьми; и когда мертвые похоронятъ своихъ мертвыхъ и равнодушный ораторъ произнесетъ надъ ними свою нелѣпую рѣчь, они, эти новые отпрыски старыхъ корней, пополнятъ собою провинціальную толпу человѣчества и станутъ жителями чеховскаго города. Въ этой нравственной провинціи нѣтъ ни одного честнаго, нѣтъ ни одного умнаго человѣка, и бездарные архитекторы безвкусныхъ домовъ строятъ здѣсь клѣтки для оцѣпенѣлыхъ душъ, и на все налегаетъ грузная, безнадежная, густая пелена обыденности. И пошлость какъ спрутъ обвиваетъ каждаго, и часто нѣтъ силъ бороться противъ ея насилія. По слову Тютчева, пошлость людская безсмертна; но, сама безсмертная, она мертвитъ все, къ чему ни прикасается. Она останавливаетъ живое творчество духа, она силой бездушнаго повторенія обращаетъ въ механизмъ и рутину то, что должно бы быть вѣчно новое, вѣчно свѣжее, вѣчно первое. Остановка духа именно потому и оскорбительна, что подвижность составляетъ самое существо его. Отъ пошлости стынутъ и гаснутъ слова, чувства, мысли; она заставляетъ людей употреблять однѣ и тѣ же фразы и прибаутки, изъ которыхъ выпуты понятія; она заставляетъ тяжело переворачивать въ умѣ однѣ и тѣ же выдохшіяся идеи, и всѣ цвѣты жизни, весь садъ ея, она претворяетъ въ нѣчто искусственное, бумажное, безуханное. Особенно мертво то, что притворяется живымъ, и пошлое тѣмъ ужаснѣе, что оно выдаетъ себя за живое. Оно считаетъ себя правымъ, оно не сознаетъ своей мертвенности и самодовольно, безъ сомнѣній, распоряжается въ подвластной ему широкой сферѣ.

Оттого пошлость и была лютымъ врагомъ чуткаго, безостановочно-духовнаго и творческаго Чехова. Въ теченіе всей своей недолгой жизни онъ, какъ писатель, боролся съ нею; она гналась за нимъ по пятамъ,

и онъ постоянно слышалъ за собой ея тяжелое, ея мертвое дыханіе. Ея не избыть, отъ нея не оградиться. Вотъ на святкахъ мать диктуетъ Егору, отставному солдату, письмо къ дочери и зятю, и она хочетъ, страстно хочетъ излить всѣ свои лучшія материнскія чувства, послать свое благословеніе, сказать самое ласковое, дорогое, завѣтное—а Егоръ, „сама пошлость, грубая, надменная, непобѣдимая, гордая тѣмъ, что она родилась и выросла въ трактирѣ, сидитъ на табуретѣ, раскинувъ широко ноги подъ столомъ, сытый, здоровый, мордатый, съ краснымъ затылкомъ“, сидитъ и пишетъ—что онъ пишетъ! „Въ настоящее время, какъ судба ваша черезъ себѣ опредѣлила на Военое Поприще, то мы Вамъ советуемъ заглянуть въ Уставъ Дисциплинарныхъ Взысканій и Уголовныхъ Законовъ Военаго Ведомства, и Вы усмотрите въ ономъ Законе цывилизацію Чиновъ Военаго Ведомства“... Вотъ Андрей, „охваченный нѣжнымъ чувствомъ“, сквозь слезы говоритъ своимъ сестрамъ: „милыя мои сестры, чудныя мои сестры! Маша, сестра моя“,—а въ это время растворяется окно и выглядываетъ изъ него... пошлость, выглядываетъ Наташа и кричитъ: „кто здѣсь разговариваетъ такъ громко?.. Il ne faut pas faire du bruit, la Sophie est dormée déjà. Vous êtes un ours“. Вотъ идетъ архитекторъ подъ руку съ дочерью, милой дѣвушкой, и говоритъ ей о звѣздахъ, о томъ, что даже самыя маленькія изъ нихъ — цѣлые міры, и при этомъ онъ указываетъ на небо тѣмъ самымъ зонтикомъ, которымъ давеча избилъ своего взрослаго сына. Безутѣшна мать, у которой убили единственнаго ребенка; но священникъ, „поднявъ вилку, на которой былъ соленый рыжикъ, сказалъ ей; Не горюйте о младенцѣ. Таковыхъ есть царство небесное“. Пошлость разнообразна. Ея не перечислишь, ея не уловишь.

Только отъ дѣвушекъ вѣетъ нравственной чистотою, и многія сохраняютъ ее навсегда; свѣтлые женскіе образы встаютъ передъ нами въ произведеніяхъ

Чехова, обвѣянные лаской, какой они не знали со временъ Тургенева; и, можетъ быть, среди нихъ, въ кругу милыхъ трехъ сестеръ, которыя стали нашими общими сестрами, около тоскующей чайки, Анюты изъ „Моей жизни“ и Ани изъ „Вишневаго сада“, меркнутъ всѣ эти попрыгуньи, супруги и Аріадны, напоминающія своей холодной любовной рѣчью „пѣніе металлическаго соловья“, и эта дочь профессора изъ „Скучной исторіи“, которая когда-то дѣвочкой, любила мороженое, а теперь любитъ Гнеккера, молодого человѣка съ выпуклыми глазами, молодого человѣка, олицетворяющаго собою пошлость...

Обыватели пошлаго города, граждане всесвѣтной глуши, или уживаются, мирятся съ обыденностью, и тогда они счастливы своимъ мѣщанскимъ счастьемъ, или они подавлены ею, и тогда они несчастны, тогда они—лишніе, обойденные. Но большинство счастливы, и на свѣтѣ въ сущности очень много довольныхъ людей, и это на свѣтѣ самое печальное. Въ тишинѣ вялаго прозябанія они мечтаютъ о своемъ крыжовникѣ, и они получаютъ его; кислыми ягодами крыжовника отгораживаются они отъ остального міра, отъ міра страдающаго, и не стоитъ у ихъ дверей человѣкъ съ молоточкомъ, который бы стучалъ, стучалъ и напоминалъ объ окружающей неправдѣ и несчастьи. Были и есть люди съ великими молоточками слова — Чеховъ принадлежитъ къ ихъ благородному сонму; изъ-за нихъ человѣчество не засыпаетъ окончательно, убаюканное шумомъ дней, довольное своимъ крыжовникомъ. Но многіе, многіе сидятъ въ своихъ футлярахъ, и никакое слово не пробудитъ ихъ отъ вялой дремоты. Они робки и боятся жизни въ ея движеніи, въ ея обновленіи.—Впрочемъ, страхъ передъ нею, страхъ передъ тѣмъ, что она „трогаетъ“, конечно, еще не влечетъ за собою нравственнаго паденія. Въ русской литературѣ есть классическая фигура человѣка, который пугался жизни, бѣжалъ отъ нея подъ защиту Захара, на свой широкій диванъ,—но въ то же время

онъ былъ кротокъ, нѣженъ и чистъ голубиной чистотою. Пѣна всяческой низменности клокотала вокругъ Обломова, но къ нему не долетали ея мутные брызги. А Бѣликовъ, который тоже смущался и трепеталъ передъ вторженіемъ жизни, черезъ это впадалъ не только въ пошлость, но и въ подлость. И вотъ почему на могилу Обломова, гдѣ дружеская рука его жены посадила цвѣтущую сирень, русскіе читатели до сихъ поръ совершаютъ духовное паломничество, а Бѣликова, говоритъ разсказчикъ, пріятно было хоронить. Правда, Чеховъ совсѣмъ не убѣдилъ насъ, что ославленный учитель греческаго языка долженъ былъ въ силу внутренней необходимости отъ своего страха перейти къ доносамъ и всяческой низости. Этого могло и не быть: боязнь жизни и робкое одиночество совмѣстимы съ душевной чистотою. „Человѣкъ въ футлярѣ“ вообще —произведеніе слабое; напрасно и не безъ вульгарнаго оттѣнка издѣваясь надъ тѣмъ, что Бѣликовъ умиленно произносилъ чудныя для его слуха греческія слова, разсказчикъ совсѣмъ упустилъ изъ виду то мученіе, которое долженъ былъ переносить человѣкъ, всего боявшійся и страдавшій бредомъ преслѣдованія. Но зато на многихъ другихъ страницахъ Чеховъ, къ сожалѣнію, слишкомъ убѣдительно показалъ своихъ горожанъ въ презрѣнномъ ореолѣ трусливости и мелочного приспособленія къ требованію обстоятельствъ и властныхъ людей.

А тѣ, кто не приспособляется, тоскливо бредутъ по жизни, которая кажется имъ скучной и грубой исторіей, смѣной однотонныхъ дней, какимъ-то нравственнымъ „третьимъ классомъ“ или городомъ Ельцомъ, гдѣ „образованные купцы пристаютъ съ любезностями“. Они тащатъ свою жизнь „волокомъ, какъ безконечный шлейфъ“. Неприспособленныхъ, какъ и самого Чехова, словно угнетаетъ вѣчный законъ повторенія. Все въ мірѣ уже было, и многое въ мірѣ, несмотря на истекшіе вѣка, осталось неизмѣннымъ. Остались неизмѣнными горе и неправда, и въ спокойное зеркало вселенной

какъ бы смотрится все та же тоскующая міровая и человѣческая душа. Подъ глубокимъ слоемъ пепла лежали сожженные лавой древніе Геркуланумъ и Помпеи, но подъ этой пеленою картина прежней жизни осталась такою же, какъ ее захватила, какъ ее остановила текучая лава. Такъ и подъ слоемъ всѣхъ новшествъ и новинокъ, какія пріобрѣло себѣ человѣчество, Гамлетъ-Чеховъ видитъ все то же неисцѣлимое страданіе, какъ оно было и въ то „безконечно-далекое, невообразимое время, когда Богъ носился надъ хаосомъ".

Самая безпрерывность и повторяемость людскихъ происшествій уже налагаетъ на нихъ, въ глазахъ Чехова, отпечатокъ пошлаго. Праздничная атмосфера счастья и весны окружаетъ у Толстого дѣвушку-невѣсту, Кити Щербацкую или Наташу Ростову; а чеховской невѣстѣ говорятъ слова любви,—но сердце ея остается холодно и уныло, и ей кажется, что все это она уже давно слышала, очень давно, или читала гдѣ-то въ романѣ, въ старомъ, оборванномъ, давно заброшенномъ романѣ. Она, тоскуя, проводитъ безсонныя ночи, и ей невыносима эта вновь отдѣланная квартира, ея будущее жилище, эта обстановка и картина извѣстнаго художника, которую самодовольно показываетъ ей счастливый женихъ. Что же? Быть можетъ, въ самомъ дѣлѣ человѣчество состарилось, и хотя всякій живетъ за себя, начинаетъ свои дни и труды сызнова, все же на каждомъ изъ нашихъ переживаній, на каждомъ событіи нашего душевнаго бытія, лежитъ отпечатокъ того, что все это уже было и столько невѣстъ уже испытало свое весеннее чувство? Быть можетъ, въ глубинѣ нашей безсознательной сферы созрѣлъ ядовитый плодъ усталости, и плечи человѣчества утомились грузомъ исторіи, тяжестью воспоминаній? Быть можетъ, въ самомъ дѣлѣ міръ истрепался, поблѣднѣлъ, и мы, наслѣдники и преемники безчисленныхъ поколѣній, уже не имѣемъ силы воспринимать настоящее во всей свѣжести и яркой праздничности его впечатлѣній?

Кто знаетъ? Несомнѣнно, что здѣсь Чеховъ подходитъ къ самымъ предѣламъ человѣческаго въ его отличіи отъ природы. Каждая весна, которая „въ условный часъ слетаетъ къ намъ свѣтла, блаженно равнодушна“, сіяетъ безсмертіемъ и не имѣетъ „ни морщины на челѣ“:

Цвѣтами сыплетъ надъ землею,
Свѣжа какъ первая весна:
Была ль другая передъ нею—
О томъ не вѣдаетъ она.
По небу много облакъ бродятъ,
Но эти облака—ея:
Она и слѣду не находитъ
Отцвѣтшихъ весенъ бытія.
Не о быломъ вздыхаютъ розы
И соловей въ ночи поетъ,
Благоухающія слезы
Не о быломъ Аврора льетъ;
И страхъ кончины неизбѣжной
Не свѣетъ съ древа ни листа.
Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный,
Вся въ настоящемъ разлита.

„Не о быломъ вздыхаютъ розы и соловей въ ночи поетъ“, а человѣкъ—сплошное воспоминаніе, и былое тѣсно переплетается у него съ настоящимъ и кладетъ свои тѣни, свое отмершее на минуту текущую. И какъ ни прекрасенъ май, „милый май“, но онъ—повтореніе прежняго, и теряетъ свою цѣнность, свою свѣжесть монета жизни, когда-то блестящая, когда-то прекрасная.

Впрочемъ, если вѣрить старому пастуху, играющему на „больной и испуганной“ свирѣли, и сама природа уже не обновляется, она умираетъ, „всякая растенія на убыль пошла, и міру не вѣкъ вѣковать: пора и честь знать, только ужъ скорѣй бы! нечего канителить и людей попусту мучить“. Великій Панъ уми-

раетъ. Послѣ него остается безпросвѣтное уныніе. „Обидно на непорядокъ, который замѣчается въ природѣ“. Жалко міра. „Земля, лѣсъ, небо... тварь всякая—все вѣдь это сотворено, приспособлено, во всемъ умственность есть. Пропадаетъ все ни за грошъ. А пуще всего людей жалко“. И чувствуется для вселенной „близость того несчастнаго, ничѣмъ не предотвратимаго времени, когда земля, какъ падшая женщина, которая одна сидитъ въ темной комнатѣ и старается не думать о прошломъ, томится воспоминаніями о веснѣ и лѣтѣ и апатично ожидаетъ неизбѣжной зимы; когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнѣе, и по стволу ея ползутъ слезы, и лишь одни журавли уходятъ отъ общей бѣды, да и тѣ, точно боясь оскорбить унылую природу выраженіемъ своего счастья, оглашаютъ поднебесье грустной, тоскливой пѣсней“.

Чеховскіе лишніе люди изнемогаютъ подъ гнетомъ повторенія, подъ тяжестью времени, и въ этомъ заключается ихъ нравственная слабость. Ибо душа богатая на однообразіе внѣшняго міра отвѣчаетъ разнообразіемъ внутреннихъ впечатлѣній, и непрерывно развертывается ея безконечный свитокъ. Недаромъ Киркегоръ моральную силу человѣка понимаетъ какъ способность и любовь къ повторенію. Для датскаго мыслителя въ первомъ, эстетическомъ, періодѣ жизни мы по ней порхаемъ, касаемся ея поверхности то въ одной, то въ другой точкѣ, все пробуемъ, ничѣмъ не насыщаемся, бѣжимъ отъ всякой географической и психологической осѣдлости, въ каждую минуту „имѣемъ наготовѣ дорожные сапоги“; мы требуемъ какъ можно больше любви, но не надо дружбы, не надо брака, и изъ каждой чаши сладостны только первые глотки. Этическій же періодъ характеризуется повтореніемъ, его символизируетъ бракъ, и тогда прельщаетъ не пестрота чужой дали, а свое родное однообразіе, и тогда душа становится глубокой въ своей сосредоточенности.

Чеховскіе лишніе герои не находятъ себѣ удовлетворенія въ этомъ второмъ періодѣ, не выдерживаютъ искуса повторенія, и жизнь протекаетъ для нихъ какъ осенній дождь, удручающій въ своей монотонной капели. Они не умѣютъ взрастить своего внутренняго вишневаго сада, и сиротливыми тѣнями идутъ они по міру. Изнеможенные повтореніемъ, его не осилившіе смѣною внутреннихъ обновокъ, они пускаютъ свою ладью на волю жизненныхъ волнъ, потому что ихъ собственная воля блѣдна и слаба; она, „какъ подстрѣленная птица, подняться хочетъ и не можетъ". И въ жизни, кипящей заботами и трудомъ, они ничего не дѣлаютъ.

Чеховъ любитъ изображать людей недѣлающихъ. Недѣланіе проникаетъ у него въ самые разнообразные круги общества и даже въ такую среду, демократическую и рабочую, гдѣ трудъ, казалось бы, является чѣмъ-то естественнымъ. Студентъ Петя Трофимовъ зоветъ любимую дѣвушку и всѣхъ людей къ новой жизни, къ новой работѣ, къ необычайному труду, но самъ онъ никакъ не можетъ кончить университетскаго курса, самъ онъ ничѣмъ не занимается.

Лишніе герои Чехова не вѣруютъ въ дѣло своей жизни и плетутся по ней съ потушенными огнями. Но только ли словомъ укоризны должны мы бросить въ его недѣлающихъ людей? Или, быть можетъ, ихъ бездѣйственное отношеніе къ міру въ своемъ конечномъ основаніи имѣетъ глубокій и глубоко-чистый источникъ?

Къ „недѣланію" призывалъ насъ еще раньше великій писатель. Толстой не хотѣлъ, конечно, проповѣдовать лѣни, онъ не требовалъ отъ насъ, чтобы мы праздно сложили бездѣятельныя руки и предоставили міръ его собственному теченію. Но онъ говорилъ намъ, что шумная сутолока дѣла, работы, профессіи отвлекаетъ насъ отъ мысли о великомъ и важномъ. Подхлестываемые бичомъ нужды и реальныхъ потребностей, мы бѣжимъ по землѣ, все время только строимъ

жизнь, лѣпимъ изъ ея глины свои хрупкія подѣлки, но о ней не думаемъ; мы только воздвигаемъ подмостки для своей жизненной пьесы, и у насъ уже не остается досуга и силъ для того, чтобы сыграть ее самое. Намъ некогда. Въ суетѣ своего повседневнаго занятія и муравьинаго строительства мы не размышляемъ о его послѣдней цѣли и не предаемся безкорыстной вдумчивости. И на закатѣ нашихъ торопливыхъ дней окажется, что, погруженные въ свое дѣло, мы ни разу не взглянули жизни въ ея глубокіе, въ ея загадочные глаза, и мы уйдемъ изъ міра безъ міросозерцанія, уйдемъ въ тягостномъ недоумѣніи передъ его смысломъ и тайной. Зачѣмъ же и куда мы спѣшили, во имя чего мы работали, не покладая рукъ, и, склоненные къ землѣ, никогда не смотрѣли въ небеса?

Безспорно, что подобныя мысли о великомъ недѣланіи должны были жить въ созерцательной душѣ Чехова, и потому онъ отворачивался отъ „ненужныхъ дѣлъ“, изъ-за которыхъ жизнь становится „безкрылой“. Устами своего художника онъ требуетъ, чтобы всѣ люди имѣли также время „подумать о душѣ, о Богѣ, могли пошире проявить свои духовныя способности“. Онъ любитъ „умное, хорошее легкомысліе“, онъ радъ за чуднаго старика о. Христофора, во всю свою жизнь не знавшаго ни одного такого дѣла, „которое, какъ удавъ, могло бы сковать его жизнь“.

Кромѣ того, дѣлаютъ дѣятели, но дѣлаютъ и дѣльцы. Чеховъ дорогъ тѣмъ, что онъ не любитъ въ человѣкѣ дѣльца. Онъ презираетъ „дѣловой фанатизмъ“, который заставляетъ не только дядю Егорушки, но и богатаго Варламова озабоченно „кружиться“ по степи, между тѣмъ какъ эта степь исполнена такой волшебной красоты, такихъ несравненныхъ очарованій. Но за отарами овецъ, за туманомъ житейскихъ разсчетовъ, ея не чувствуютъ, не замѣчаютъ, и обиженная степь, тоскуя, сознаетъ, что „она одинока, что богатство ея и вдохновеніе гибнутъ даромъ для міра, ни-

кѣмъ не воспѣтыя и никому ненужныя, и сквозь радостный гулъ слышишь ея тоскливый, безнадежный призывъ: пѣвца! пѣвца!“ Поэтъ Чеховъ услышалъ этотъ призывъ и воспѣлъ ее дивными словами, но все же степь находится въ плѣну у плантаторовъ и дѣльцовъ, у Варламова, у тѣхъ, кто кружится по ней въ дѣловой пляскѣ хозяйственной заботы.

Да, Чеховъ какъ будто не любилъ, не понималъ дѣла. Онъ не любилъ дѣятеля, который себя сознаетъ и цѣнитъ, который хлопочетъ: онъ не любилъ строгой Лиды, которая бѣднымъ помогала вовсе не такъ граціозно и поэтически, какъ пушкинская Татьяна, и благодаря которой „на послѣднихъ земскихъ выборахъ прокатили Балагина“. Онъ не воплотилъ гармоніи между дѣломъ и мыслью, и въ концѣ жизни знаменитаго профессора, выдающагося дѣятеля, оказывается, что онъ не имѣлъ общей идеи, бога живого человѣка, что духъ его какъ будто не участвовалъ въ искусной работѣ его знаній и таланта. Дѣло рисовалось Чехову въ образѣ дѣльца, въ неприглядномъ видѣ Боркина, антипода Иванову; дѣло символизировалось для него ключами отъ хозяйства, кружовеннымъ вареньемъ, которое столь удобно для экономическаго угощенія и которое въ концѣ концовъ пропадаетъ, засахаривается, какъ у Варвары изъ „Оврага“. Въ каждомъ дѣлѣ онъ чувствовалъ непріятный оттѣнокъ хлопотливости и суеты, привкусъ какого-то шумнаго безпокойства, которое недостойно медлительной и величавой думы человѣка. И хозяйству, дѣлечеству онъ противополагалъ не дѣятельность, а бездѣліе. Дѣловитость весела, жизнерадостна, пошла, какъ Боркинъ, или же она тупа своей „бездарной и безжалостной честностью“, какъ докторъ Львовъ или фонъ-Коренъ, а бездѣліе изящно, меланхолично, грустно, и оно поднимаетъ своихъ жрецовъ высоко надъ суетливой толпою.

Но Чеховъ и самъ чувствовалъ, какъ несправедливо такое распредѣленіе психологическихъ красокъ; онъ сознавалъ, что не Боркиными ограничивается дѣло

жизни и что далеко не всѣ лишніе люди—люди желанные. У него есть и случайные, правда, силуэты настоящихъ дѣятелей; напримѣръ, не похожъ на Боркина и не похожъ на доктора Львова тотъ другой, прекрасный докторъ изъ „Бѣглеца“, который своей притворной суровостью трогательно маскировалъ свою безконечную доброту и ласку къ бѣдному мальчику Пашкѣ и, вѣроятно, ко всѣмъ бѣднымъ мальчикамъ на свѣтѣ. И, что еще важнѣе, Чеховъ самъ не разъ каралъ себя за свое художественное пристрастіе къ тоскующимъ героямъ бездѣлія и безволія. Вѣдь это онъ написалъ почти каррикатурный образъ Лаевскаго изъ „Дуэли“, вѣдь это у него Ивановъ горько насмѣхается надъ своей „гнусной меланхоліей“, надъ игрой въ Гамлета. Медленной походкой идетъ чеховскій Ивановъ по жизни, и отъ его мертваго прикосновенія гибнутъ женщины; земля его глядитъ на него „какъ сирота“, вся русская земля глядитъ на него какъ сирота и ждетъ не дождется его,— а онъ, лѣнивый и вялый, позорно жалуется на свое переутомленіе, на то, что поднялъ онъ бремя непосильное и не соблюлъ душевной гигіены. Онъ не только лишній. Онъ не кротокъ, какъ лишній Обломовъ: послѣдній только самъ легъ въ безвременную могилу, онъ никого не оскорбилъ, никого не убилъ, а Ивановъ въ изможденное лицо своей умирающей жены бросилъ „жидовку“ и бросилъ смертный приговоръ. И докторъ Андрей Ефимовичъ тоже не былъ дѣятеленъ; онъ много читалъ, онъ много думалъ, но въ жизни онъ не принималъ участія и оставался равнодушнымъ зрителемъ того, что дѣлалось въ палатѣ № 6, гдѣ надъ стихійнымъ ужасомъ люди воздвигли еще свое искусственное и ненужное страданіе, поставили сторожа Никиту, „скопили насиліе всего міра“. Изъ-за того, что онъ не могъ одолѣть всего зла и насилія въ мірѣ, онъ и въ окружающую жизнь не вносилъ ни крупицы добра, и когда Иванъ Дмитричъ, великій страстотерпецъ номера шестого, разрывая жалостью всякое сердце, въ

минуту просвѣтлѣнія мечтательно говорилъ, что давно уже онъ не жилъ по-человѣчески, что хорошо было бы теперь проѣхаться въ коляскѣ куда-нибудь за городъ и потомъ полѣчиться отъ головной боли,— Андрей Ефимовичъ въ своемъ преступномъ недѣланіи, подавленный разсужденіями, не свезъ бѣднаго мученика за городъ подышать весною и не сталъ лѣчить его отъ головной боли... Вообще, Чеховъ самоотверженно показалъ въ близкомъ его сердцу лишнемъ человѣкѣ все, что есть въ немъ отрицательнаго и жестокаго, все, что есть въ немъ злополучнаго для себя и для другихъ. Чеховъ зналъ все, что можно сказать противъ лишнихъ,— особенно тамъ, гдѣ нужны столь многіе, гдѣ нужно столь многое.

И все же иные его лишніе въ основномъ направленіи и настроеніи своего духа выше полезныхъ. Они погружены въ недѣланіе потому, что не спѣшатъ воспользоваться жизнью; они созерцаютъ, они думаютъ о ней, они чувствуютъ ее и тихо приближаются къ ея фактическому содержанію,—а торопливая жизнь между тѣмъ ускользаетъ, и они оказываются ненужными, обойденными; и вишневые сады, и женскія сердца переходятъ въ другія, болѣе расторопныя и цѣпкія руки. Жизнь не терпитъ раздумья, созерцанія, мысли; нѣтъ, она говоритъ человѣку: „люби меня безъ размышленій, безъ тоски, безъ думы роковой“. И непосредственныя натуры жадно припикаютъ къ ней своими немудрствующими устами. Въ этомъ, быть можетъ, есть особая красота и мудрость, но это вырождается и въ животную привязанность къ текущей минутѣ, къ заботѣ и злобѣ дня; это—источникъ всяческаго мѣщанства, пошлости и рутины. И кто торопится навстрѣчу жизни, тотъ не станетъ думать о томъ, что будетъ черезъ двѣсти-триста лѣтъ, а лишніе объ этомъ думаютъ и тѣмъ безконечно возвышаются надъ жизнелюбивой толпой. Они не расчищаютъ себѣ дороги въ сутолокѣ человѣческаго торжища, они не толкаются и не „размахиваютъ руками“. Они — аристократы духа,

и въ нихъ таится благородное наслѣдіе датскаго принца. Въ траурныхъ одеждахъ своей „тоски и думы роковой“ не спѣша идутъ они среди торопливыхъ и, занятые своимъ внутреннимъ міромъ, не замѣчаютъ пестраго говора жизни. Воля, направленная на внѣшнее дѣло, тихо дремлетъ у нихъ; зато не умолкаетъ нѣжное, тонкое чувство, и, „прижавшись къ праху въ сознаньи горькаго безсилія“, они тоскуютъ по высшей красотѣ и правдѣ. Они не удовлетворены, и благо имъ за ихъ великую неудовлетворенность! Они тяготѣютъ къ идеалу, къ своей нравственной Москвѣ, и если, правда, они не прилагаютъ мощныхъ усилій къ тому, чтобы осуществить свои „безкрылыя желанія“, если изъ-за этого они не дѣятели, то ужъ во всякомъ случаѣ они и не дѣльцы, не практики. На шумномъ торжищѣ людской корысти, среди крикливыхъ и суетливыхъ, среди разсчетливыхъ и умудренныхъ они оказываются лишними людьми. Но какъ „премудрость міра — безумье предъ судомъ Творца“ и не Марѳа, пекущаяся о многомъ, а Марія знаетъ единое на потребу, такъ, быть можетъ, на иную, высшую оцѣнку и эти лишніе окажутся наиболѣе нужными.

И не будемъ ихъ карать: вѣдь они сами, они первые падаютъ жертвами своего безволія. Жизнь сама ихъ наказываетъ, и они гибнутъ. Простимъ ихъ бездѣятельность. 22 августа продадутъ ихъ вишневый садъ, — люди дѣла предупреждаютъ ихъ объ этомъ, совѣтуютъ что-нибудь предпринять: „думайте, думайте!“ Но они не думаютъ. Для каждаго изъ насъ настанетъ свое 22 августа, день расплаты, день разлуки, — но мы боремся противъ его грозящей тѣни и всячески его отодвигаемъ. А лишніе люди Чехова безропотно идутъ къ нему навстрѣчу. И 22 августа продадутъ ихъ садъ, ихъ домъ, „стараго дѣдушку“, — а вѣдь разстаться съ домомъ, это значитъ разбить свою душу, потому что „милый, наивный, старый“ домъ Чеховъ всегда изображаетъ какъ гнѣздо человѣческой души (онъ „много видалъ ихъ на своемъ вѣку,—большихъ

и малыхъ, каменныхъ и деревянныхъ, старыхъ и новыхъ"); живыми глазами смотрятъ на него окна мезонина, и на вещахъ осѣдаетъ безмолвный отпечатокъ нашихъ интимныхъ переживаній. Докторъ Андрей Ефимовичъ неправъ въ своемъ безучастіи къ дѣлу жизни, но вѣдь его и сразила жизненная Немезида; такой поклонникъ ума, онъ сталъ безуменъ и самъ попалъ въ № 6, отъ котораго никому нельзя зарекаться, и тамъ онъ погибъ отъ ударовъ сторожа Никиты и отъ мученій своей проснувшейся совѣсти, которая оказалась такой же „несговорчивой и грубой", какъ и жестокій сторожъ. Не бросимъ камня въ бездѣятельнаго Иванова: онъ уже наказанъ, онъ самъ вычеркнулъ себя изъ списка живыхъ и застрѣлилъ себя въ день своей свадьбы. И за то, что художникъ былъ празденъ, за то, что онъ былъ только пейзажистъ, Лида, жестокая въ своей дѣловитости, услала отъ него прелестную Женю, его маленькую блѣдную королеву, которую онъ нѣжно цѣловалъ въ грустную августовскую ночь, когда свѣтила луна и пугали обильно падавшія звѣзды; и вотъ онъ теперь одинъ, праздный пейзажистъ, и въ тоскѣ своего одиночества онъ зоветъ свою любовь: „Мисюсь, гдѣ ты?". Ему кажется, что она вспоминаетъ о немъ, что она его ждетъ, — но, можетъ быть, Лида выдала ее замужъ за человѣка дѣятельнаго, за энергичнаго земца?..

Такъ лишніе за свое бездѣліе и безволіе находятъ себѣ кару. И тѣмъ болѣе привлекаютъ они къ себѣ. Наивные и безкорыстные, они ушли отъ суеты,—„не размахиваютъ руками и бросили въ колодезь ключи отъ хозяйства". Какъ Соломонъ изъ „Степи", спалившій въ печкѣ свои деньги и за это ославленный сумасшедшимъ, они свое безучастіе къ жизни искупили своимъ страданіемъ и своей нравственной чистотой. Чеховъ вложилъ имъ въ души глубокое пренебреженіе къ выгодѣ и житейскому разсчету. Они, дѣйствительно, отбросили далеко ключи отъ хозяйства, эти страшные ключи, которые гремятъ на поясѣ у

хозяйки и гремучими змѣями проникаютъ въ сердце, отравляя чувства и помыслы. Они знаютъ, что когда Богъ призоветъ къ себѣ стараго Ѳедора Степаныча („Три года“), Онъ спроситъ его не о томъ, какъ онъ торговалъ и хорошо ли шли его дѣла, а о томъ, былъ ли онъ милостивъ къ людямъ. Для нихъ мучительно смотрѣть, какъ экономная тетя Даша, звеня браслетами на обѣихъ крѣпкихъ и деспотическихъ рукахъ, носится по своей хозяйственной державѣ, съ очень серьезнымъ лицомъ цѣлый день варитъ варенье и цѣлый день заставляетъ прислугу бѣгать и хлопотать около этого варенья, „которое будетъ ѣсть не она“, прислуга. Лишніе люди не сѣютъ и не жнутъ, но зато они и не хозяйничаютъ. А для ихъ духовнаго творца, Чехова, быть можетъ, нѣтъ фигуры болѣе пошлой, чѣмъ именно хозяинъ. Но писатель возвышеннаго, онъ показалъ хозяйство не только въ его обыденныхъ низинахъ, не только въ его чичиковской неприглядности,— онъ явилъ его намъ и въ ореолѣ кровавомъ, въ отблескѣ зловѣщаго. Аксинья изъ „Оврага“ это—воплощенное хозяйство въ его трагизмѣ, это—кульминація дѣловитости въ ея ужасѣ. Аксинья—хозяйка-преступница. „Красивое, гордое животное“, „змѣя, выглядывающая изъ молодой ржи“, она рано встаетъ, поздно ложится и весь день бѣгаетъ въ погреба, амбары и лавку, гремя ключами; и ради нихъ, ради этихъ ключей, она обварила кипяткомъ ребенка Липы, единственное достояніе кроткой, безотвѣтной, безхозяйственной женщины, и послѣ этого „послышался крикъ, какого еще никогда не слыхали въ Уклеевѣ“, отъ какого, быть можетъ, еще никогда не содрогалось и сердце русскаго читателя... И обваренный кипяткомъ, маленькій Никифоръ, душа котораго носится вверху, около звѣздъ, разскажетъ Богу, что творится на суетной землѣ, что дѣлаетъ на ней хозяйство. И въ концѣ-концовъ хозяйство гибнетъ; оно распадается,—все равно, въ поэтической ли формѣ вишневаго сада или въ грязной лавкѣ Цыбукина, который въ концѣ своей

темной торгашеской жизни не умѣетъ отличить настоящихъ рублей отъ фальшивыхъ, подаренныхъ ему роднымъ сыномъ. Въ концѣ хозяйственной жизни, при ея тускломъ и неправедномъ свѣтѣ, нельзя отличить истины отъ лжи. Оттого лишніе люди и не этимъ жалкимъ свѣточемъ руководятся въ своемъ бездомномъ и чистомъ существованіи. И всѣмъ завѣщаютъ они освободить свою душу отъ мелочныхъ заботъ, отъ безсмертной пошлости и прозы, отъ хозяйственнаго сора; печально уходя изъ ставшаго чужимъ вишневаго сада, они оставляютъ глубокій завѣтъ—бросить въ колодезь ключи отъ хозяйства.

Непрактичные и неспособные къ дѣлу, лишніе люди Чехова любятъ слова,—теплыя, высокія, хорошія слова, которыя живутъ въ каждой человѣческой груди, но цѣломудренно прячутся, потому что окружающая жизнь приметъ ихъ удивленно и холодно, — ей довольно словъ только будничныхъ и обыкновенныхъ. Между тѣмъ, хочется говорить. Хочется говорить о чемъ-нибудь великомъ и важномъ, „о Шиллерѣ, о славѣ, о любви“. Душа взволнована и жаждетъ слова. Изъ рамокъ временнаго и низменнаго стремится она къ высокому: это—одинъ изъ обычныхъ мотивовъ чеховской музы. И онъ находитъ себѣ осуществленіе не въ тѣхъ умныхъ разговорахъ и рѣчахъ, которые нерѣдко встрѣчаются на страницахъ у Чехова, недостаточно глубокіе и оригинальные: нѣтъ, онъ сказывается преимущественно въ томъ чарующемъ лиризмѣ и въ тѣхъ порывахъ къ вѣчному, которые осѣняютъ его героевъ.

Но въ чеховскомъ городѣ, среди людей, „говорящихъ свою чепуху“ и записывающихъ свои мысли въ жалобную книгу, книгу мудрости обывателей, — съ кѣмъ же можно говорить о Шиллерѣ, о славѣ, о любви? Въ пошломъ царствѣ кто же отзовется на такой разговоръ? Для того чтобы удовлетворить свою тоску по возвышенной бесѣдѣ, свое желаніе говорить и слышать великія слова, надо уйти отъ здоровыхъ и счаст-

ливыхъ, надо уйти отъ нормальныхъ въ палату № 6. Только тамъ, среди безумныхъ и несчастныхъ, докторъ Андрей Ефимовичъ, которому часто снились умные люди и бесѣды, говорилъ и слышалъ то, что нужно человѣческому духу; только тамъ, въ зловѣщей палатѣ кошмара и страданія, нашелъ онъ сердце и великодушіе, которыхъ не было въ городѣ; и изъ однихъ безумныхъ, но благородныхъ устъ изливались тамъ пламенныя рѣчи о „насиліи, попирающемъ правду, о прекрасной жизни, какая со временемъ будетъ на землѣ, объ оконныхъ рѣшеткахъ, напоминающихъ каждую минуту о тупости и жестокости насильниковъ",—и получалось „безпорядочное, нескладное попурри изъ старыхъ, но еще недопѣтыхъ пѣсенъ".

И Ковринъ тоже сѣтовалъ, что у него похитили счастье безумія. Онъ упрекалъ своихъ родныхъ, что его лѣчили, что благодаря этому исчезли для него экстазъ и вдохновеніе и пересталъ къ нему являться въ рамкѣ смерча блѣдный черный монахъ со скрещенными руками на груди и, въ благословенной галлюцинаціи, пересталъ говорить ему дивныя рѣчи о томъ, что онъ, Ковринъ, геніаленъ, что онъ безсмертенъ, что великій удѣлъ ожидаетъ человѣчество. Ковринъ хотѣлъ безумія, искалъ миража. Правда, въ свои предсмертныя мгновенія онъ возжаждалъ нормальнаго, простого, „онъ звалъ Таню, звалъ большой садъ съ роскошными цвѣтами, обрызганными росой, звалъ паркъ, сосны съ мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смѣлость, звалъ жизнь, которая была такъ прекрасна".

И Чеховъ тоже звалъ жизнь, и для него она тоже была прекрасна. Въ этомъ заключается его благородное и великое своеобразіе. Писатель сумерекъ, онъ страстно любилъ солнце, и въ міръ пришелъ онъ, говоря словами поэта, чтобъ видѣть это солнце и синій кругозоръ. Онъ не потому груститъ, чтобы дѣйствительность представлялась ему какъ нѣчто мрачное и зловѣщее въ своей глубинѣ. Онъ не брюзга и не

пессимистъ. Затаенная, застѣнчивая радость жизни переливается въ его произведеніяхъ, и никто тоньше его не понималъ и не чувствовалъ всего, что есть на землѣ поэтичнаго и отраднаго. Въ лунномъ свѣтѣ меланхоліи, въ ея задумчивомъ колоритѣ изобразилъ онъ міръ, но міръ пріобрѣлъ отъ этого только новую красоту. Вѣдь „такъ хорошъ и мягокъ лунный свѣтъ", и чаруетъ даже его „колыбель"—кладбище съ бѣлыми крестами и памятниками; на кладбище „въ глубокомъ смиреніи смотрятъ съ неба звѣзды, сонныя деревья склоняютъ свои вѣтви надъ бѣлымъ, и здѣсь нѣтъ жизни, нѣтъ и нѣтъ, но въ каждомъ темномъ тополѣ, въ каждой могилѣ чувствуется присутствіе тайны, обѣщающей жизнь тихую, прекрасную, вѣчную". И среди могилъ думается о прекрасномъ, о живомъ: „сколько здѣсь зарыто женщинъ и дѣвушекъ, которыя были красивы, очаровательны, которыя любили, сгорали по ночамъ страстью, отдаваясь ласкѣ, и бѣлѣютъ уже не куски мрамора, а прекрасныя тѣла, которыя стыдливо прячутся въ тѣни деревьевъ"...

Чеховъ имѣлъ, какъ онъ выражается, продолжительныя очныя ставки съ тихими лѣтними ночами; онъ любилъ ту природу, которая боится „проспать свои лучшія мгновенья"; онъ любилъ тѣ минуты ея, когда наканунѣ праздника „собираются отдыхать и поле, и лѣсъ, и солнце,—отдыхать, быть можетъ, молиться"; и когда онъ проѣзжалъ по унылой степи міра, ему приходили на память степныя легенды, всѣ прекрасныя грезы, которыми живетъ и дышитъ міръ, всѣ плѣнительныя сказки бытія, и тогда въ голубомъ небѣ, въ лунномъ свѣтѣ, въ полетѣ ночной птицы, во всемъ, что онъ видѣлъ и слышалъ, чудились ему „торжество красоты, молодость, расцвѣтъ силъ и страстная жажда жизни,—душа давала откликъ прекрасной, суровой родинѣ и хотѣлось летѣть вмѣстѣ съ ночною птицей".

Полетъ ночной птицы надъ заснувшей землею былъ ему вообще отраденъ и дорогъ, потому что, кромѣ солнца,

любилъ онъ и ночь, „благополучную ночь“, когда „ангелы-хранители, застилая горизонтъ своими крыльями, располагаются на ночлегъ“, и когда грезится Чехову какой-то млечный путь изъ человѣческихъ душъ. Онъ зналъ мистику ночи, и были понятны ему тютчевскіе мотивы, стихійное вѣяніе космическаго. „Златотканный покровъ“ дня, сіяющую ткань его парчи, распускаетъ ночью міровая Пенелопа, и вселенная отъ этого являетъ иное зрѣлище. Ночью міръ не пошлъ. Ночью съ него спадаетъ денная чешуя обыденности, и онъ становится глубже и таинственнѣе; вмѣстѣ съ звѣздами ярче и чище загораются огоньки человѣческихъ сердецъ,—вѣдь „настоящая, самая интересная жизнь у каждаго человѣка проходитъ подъ покровомъ тайны, какъ подъ покровомъ ночи“, и Чеховъ вообще понималъ людей глубже, чѣмъ они кажутся себѣ и другимъ. Ночью земля принимаетъ загадочныя очертанія, и всѣ будничные предметы, всю спокойную прозу современности душа претворяетъ въ идеальное. Далекіе огни въ полѣ напоминаютъ лагерь филистимлянъ; мнятся великаны и колесницы, запряженныя шестерками дикихъ, бѣшеныхъ коней; въ жизнь переходятъ рисунки изъ Священной исторіи, и встрѣчныхъ во тьмѣ спрашиваетъ Липа: „вы святые?“—и тѣ, не удивленные, отвѣчаютъ; „нѣтъ, мы изъ Фирсанова“. Глубокій, истинный міръ ночного разрушаетъ всѣ предѣлы времени и пространства. Сближаются настоящее и прошлое. Одинокій огонь костра бросаетъ свой мистическій свѣтъ на далекое, на ушедшее, и въ нынѣшнюю ночь, близкую къ Пасхѣ, воскресаетъ другая, давнишняя, памятная міру ночь въ Геѳсиманскомъ саду,—„воображаю: тихій-тихій, темный-темный садъ, и въ тишинѣ едва слышатся глухія рыданія“: то рыдаетъ Петръ, трижды отрекшійся отъ Христа. А въ пасхальную ночь Чеховъ поминаетъ того монаха Николая, „симпатичнаго поэтическаго человѣка“, который выходилъ „по ночамъ перекликаться съ Іеронимомъ и пересыпалъ свои акаѳисты цвѣтами, звѣздами и лучами солнца“; онъ

былъ непонятъ и одинокъ—мечтаетъ Чеховъ—у него были мягкія, кроткія и грустныя черты лица, и въ его глазахъ свѣтилась ласка и едва сдерживаемая дѣтская восторженность. Чеховъ съ невыразимой нѣжностью понимаетъ всю скорбь смиреннаго Іеронима, который потерялъ въ безвѣстномъ сочинителѣ акаѳистовъ своего друга и теперь, въ святую ночь, долженъ перевозить на паромѣ богомольцевъ, вмѣсто того чтобы самому быть въ церкви, слушать пѣснопѣнія и „жадно пить своей чуткой душой красоту святой фразы“. Чеховъ понимаетъ его, потому что и самъ онъ своей чуткой душой тоскуетъ по нѣжной и сладкой красотѣ акаѳиста. И онъ тоже хотѣлъ бы воспѣть его міру, пересыпать его цвѣтами, звѣздами и лучами солнца, „чтобы въ каждой строчечкѣ была мягкость и ласковость“...

И вообще, въ глазахъ Чехова, въ его печальныхъ глазахъ, міръ былъ достоинъ акаѳиста. Чеховъ зналъ всю неуловимую отраду жизни, все обаяніе молодости, всю нѣгу страсти и любви, неотразимой и непобѣдимой, и прелесть утра, и наивную красоту и умиленіе ребенка, и вѣчно свѣжій росистый садъ, и уютъ родного дома, и тонкія руки дѣвушки, просвѣчивающія сквозь широкіе кисейные рукава, и восторженную душу шестнадцатилѣтней Нади Зелениной, которая вернулась изъ театра послѣ „Евгенія Онѣгина“ и вся дышитъ искрометнымъ счастьемъ, вся полна молодого смѣха. По его произведеніямъ разлита безпредѣльная нѣжность человѣческихъ отношеній, и всѣ эти сестры и братья, невѣсты и возлюбленные, дяди и племянницы говорятъ у него другъ другу такія сладкія и ласковыя слова, отъ которыхъ замираетъ очарованное сердце,—слова, за которыя полюбила Константина изъ „Степи“ три года не любившая его красавица. И эту же нѣжность переноситъ онъ и на природу, и ему кажется, что даже „сонные тюльпаны и ирисы тянутся изъ темной травы, точно прося, чтобы и съ ними объяснились въ любви“...

Все это онъ зналъ и чувствовалъ, любилъ и благословлялъ; все это онъ опахнулъ своею лаской и озарилъ тихой улыбкой своего юмора. И въ то же время на него глядѣла „тонкая красота человѣческаго горя“ и вся его глубина; и въ то же время онъ былъ на Сахалинѣ и видѣлъ самый предѣлъ человѣческаго униженія и несчастья,—и Сахалинъ былъ для него островомъ только географически, а въ нравственномъ смыслѣ вѣдь это все тотъ же материкъ нашей злополучной жизни, нашей духовной каторги.

„Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчей, и длинныя облака, красныя и лиловыя, сторожили его покой, протянувшись по небу... У самаго пруда въ кустахъ, за поселкомъ и кругомъ въ полѣ заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка и все сбивалась со счета, и опять начинала. Въ прудѣ сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: „И ты такова! И ты такова!“ Какой былъ шумъ! Казалось, что всѣ эти твари кричали и пѣли нарочно, чтобы никто не спалъ въ этотъ весенній вечеръ, чтобы всѣ, даже сердитыя лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: вѣдь жизнь дается только одинъ разъ!.. О, какъ одиноко въ полѣ ночью, среди этого пѣнія, когда самъ не можешь пѣть, среди непрерывныхъ криковъ радости, когда самъ не можешь радоваться, когда съ неба смотритъ мѣсяцъ, тоже одинокій, которому все равно, весна теперь или зима, живы люди или мертвы“...

Море отражаетъ въ себѣ лунный свѣтъ и въ сочетаніи съ нимъ образуетъ „какое согласіе цвѣтовъ, какое мирное, покойное и высокое настроеніе!“ „Глядя на великолѣпное, очаровательное небо, океанъ сначала хмурится, но скоро самъ пріобрѣтаетъ цвѣта ласковые, радостные, страстные, какіе на человѣческомъ языкѣ и назвать трудно“, — а въ это время (мы уже видѣли) въ глубинѣ океана происходитъ встрѣча Гусева и акулы.

Какой же здѣсь возможенъ синтезъ и какъ дать міру общую оцѣнку, вынести ему опредѣленный приговоръ? Вы чувствуете, что гдѣ-то здѣсь, по близости, въ степи, въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ вами, есть кладъ, есть счастье, но какъ его найти? Или счастье фантастично? И существуетъ оно гдѣ-то внѣ жизни? Быть можетъ, въ самомъ дѣлѣ отъ прикосновенія къ реальности блекнетъ всякій идеалъ, и „надо не жить, надо слиться въ одно съ этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, какъ вѣчность, съ ея цвѣтами, курганами и далью, и тогда будетъ хорошо?“ Моментъ внѣжизненнаго, посторонняго, моментъ созерцательнаго отношенія къ жизни вѣдь такъ часто встрѣчается у Чехова.

Онъ не оставилъ цѣльнаго міровоззрѣнія, и намъ приходится самимъ выбирать между той радостью и той горестью жизни, которыя онъ одинаково изобразилъ въ своихъ книгахъ. Для ума здѣсь остается великое недоумѣніе, и спокойные цвѣта океана, природу ликующую или природу равнодушную, мы не можемъ примирить съ тоскою и скорбью, съ немолчнымъ безпокойствомъ человѣка. „Если бы знать... если бы знать,..“ — вздыхаютъ сестры. Но мы не знаемъ. И тайна окружаетъ насъ. Порывы къ вѣчному, которое лучезарно, проникающая міръ красота, — и плѣнъ у смерти и ужаса, плѣнъ у временнаго и пошлаго, которое такъ опасно для духа: черезъ эту бездну, черезъ это роковое зіяніе можетъ перекинуть мостъ одна только вѣра.

И знаменательно то несомнѣнное, что не тѣ, кто стоитъ на берегу и видитъ чужую гибель, но сами гибнущіе, сами страдающіе все-таки славятъ у Чехова жизнь, надѣются на нее и трогательно питаютъ къ ней глубокое довѣріе. Въ тихую ночь утихаетъ даже безмѣрное горе Липы, въ тихую и прекрасную ночь вѣрится, что, какъ ни велико зло, „все же въ Божьемъ мірѣ правда есть и будетъ, такая же тихая и прекрасная, и все на землѣ только ждетъ, чтобы

слиться съ правдой, какъ лунный свѣтъ сливается съ ночью".

Все на землѣ терпѣливо ждетъ сліянія съ правдой и милосердіемъ. И дѣвушка, у которой разбили сердце, которая пережила застѣнчивую обиду и горе дурнушки, находитъ въ себѣ силы для того, чтобы утѣшать другого несчастнаго, своего дядю Ваню. Она вѣруетъ, вѣруетъ горячо, страстно. И она кладетъ свою утомленную голову на руки дяди, и увѣряетъ его, что Богъ сжалится надъ ними, что они увидятъ жизнь свѣтлую и прекрасную, что они съ умиленіемъ и улыбкой оглянутся на свои теперешнія несчастья, — они отдохнутъ. „Мы отдохнемъ! Мы услышимъ ангеловъ, мы увидимъ все небо въ алмазахъ... Ты не зналъ въ своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди... Мы отдохнемъ. Мы отдохнемъ".

Все человѣчество, какъ бѣдный дядя Ваня, не знало въ своей жизни радостей,—оно утомлено за свои долгіе и страдальческіе вѣка. Его усталость Чеховъ изобразилъ въ краскахъ великой печали. Но Чеховъ вѣрилъ въ безсмертный отдыхъ человѣчества.

И самъ онъ теперь отдохнулъ. Онъ отдохнулъ отъ грубости, которая его оскорбляла, отъ человѣческой скорби, которой питался его духъ, отъ смѣшного и горькаго, — онъ отдохнулъ.

И мы теперь не знаемъ, намъ Чеховъ не скажетъ, дѣйствительно ли онъ увидѣлъ все небо въ алмазахъ, дѣйствительно ли онъ услышалъ пѣніе ангеловъ. Кто уходитъ изъ жизни, тотъ уноситъ съ собою великую тайну, великую разгадку тайны... Но одно уже онъ сказалъ намъ на маленькихъ страницахъ своихъ глубокихъ твореній: онъ сказалъ, что хотя и нависла надъ жизнью зловѣщая туча нелѣпицы и несчастья, хотя всяческіе ключи отъ хозяйства замыкаютъ душу для безкорыстнаго и вѣчнаго, для высокаго и радостнаго, но сквозь этотъ злой туманъ обыденности проникаютъ и смотрятся алмазы небесныхъ звѣздъ, алмазы благодатныхъ идеаловъ, и по нимъ великой

тоскою тоскуетъ неудовлетворенная и неудовлетворимая человѣческая душа. И мы знаемъ еще, что отнынѣ, среди этихъ свѣтилъ, тихими и кроткими лучами грусти и упованія будетъ нѣжно сіять надъ родною землею образъ Чехова, незакатная звѣзда его чистаго имени...

Объ А. П. Чеховѣ.

М. Чеховъ.

Объ А. П. Чеховѣ.

Въ жизни Антона Павловича Чехова были три эпохи, которыя отразились на всемъ его творчествѣ. Онъ и самъ признавалъ это. Это были: поѣздки къ нѣкоему Ивану Парфентьевичу въ усадьбу и къ его племяннику Кравцову на далекій хуторъ въ донскихъ степяхъ, когда еще А. П. былъ гимназистомъ; затѣмъ—г. Воскресенскъ и усадьба Бабкино Московской губ., гдѣ А. П. провелъ четыре лѣта тотчасъ по окончаніи курса университета, и, наконецъ, Мелихово, гдѣ онъ былъ уже землевладѣльцемъ. О первой эпохѣ я не знаю ничего, кромѣ того развѣ, что А. П. разсказывалъ мнѣ самъ. Благодаря впечатлѣніямъ именно этой эпохи, были написаны имъ: „Степь“, „На пути“, „Жалобная книга“. Я помню, какъ онъ со смѣхомъ разсказывалъ о такой книгѣ гдѣ-то на станціи донецкой дороги. Въ поѣздкѣ къ Кравцову А. П. бывалъ на каменно-угольныхъ копяхъ и тамъ же слышалъ звукъ сорвавшейся бадьи, о которомъ упоминается въ „Счастьи“ и въ „Вишневомъ саду“. Донецкая дорога тогда еще только

строилась, и здѣсь ему пришлось наблюдать постройку желѣзнодорожной насыпи, которую онъ описалъ въ „Огняхъ“. Тутъ же напугалъ брата оторвавшійся отъ поѣзда товарный вагонъ, о которомъ говорится въ разсказѣ „Страхи“.

Окончивъ курсъ гимназіи, А. П. пріѣхалъ въ Москву въ университетъ и поселился вмѣстѣ съ семьею, которая переселилась изъ Таганрога еще раньше. Я тогда былъ гимназистомъ. Мы жили очень бѣдно, и приходилось всѣмъ намъ, братьямъ, искать заработковъ. Я переписывалъ лекціи, братъ Иванъ Павловичъ, 18-ти лѣтнимъ юношей, держалъ экзаменъ на народнаго учителя и въ 1880 г. былъ назначенъ въ приходское училище въ Воскресенскъ (Новый Іерусалимъ), куда и уѣхалъ; а А. П. послалъ въ „Стрекозу“ свой первый разсказъ „Письмо къ ученому сосѣду“, съ котораго и началась его литературная дѣятельность. Вскорѣ затѣмъ онъ сталъ работать и въ другихъ московскихъ изданіяхъ, и на пространствѣ 2—3 лѣтъ, помнится, написалъ цѣлые романы: „Ненужная побѣда“ (въ „Будильникѣ“), „Цвѣты запоздалые“ (въ „Свѣтѣ и Тѣняхъ„) и „Золотая коса“ (въ „Москвѣ“). Романы эти въ его сборники не вошли вовсе.

Каждое лѣто наша семья выѣзжала къ брату Ивану Павловичу въ Воскресенскъ, а А. П. оставался въ Москвѣ писать. Послѣ тяжелой работы ему волей-неволей приходилось съ покойнымъ братомъ Николаемъ развлекаться въ Сокольникахъ, въ Богородскомъ и вообще въ тѣхъ дачныхъ выселкахъ, которые съ такимъ юморомъ описаны имъ во многихъ его разсказахъ („Дачники“, „Лишніе люди“ и др.). Въ 1884 году А. П. окончилъ курсъ университета и переѣхалъ на лѣто къ намъ въ Воскресенскъ.

Тогда это былъ маленькій городишко, скорѣе похожій на небольшое село, съ одною только церковью. Управлялся онъ полицейскимъ надзирателемъ, котораго звали „городничимъ“, и вообще жить въ немъ было дешево и пріятно, такъ какъ окрестности его прекрасны. Къ

тому же общество было интересное и дружное. Между прочимъ, въ Воскресенскѣ проживалъ тогда П. Д. Голохвастовъ, извѣстный своими работами по предполагавшемуся въ началѣ 80-хъ годовъ созыву Земскаго собора. Жена его Ольга Андреевна была литераторшей, писала комедіи и драмы. Въ городѣ стояла батарея, которой командовалъ симпатичнѣйшій полковникъ Б. И. Маевскій. Было нѣсколько офицеровъ и батарейныхъ дамъ. Пріѣхавъ въ Воскресенскъ, А. П. засталъ у семьи Чеховыхъ уже порядочный кругъ знакомыхъ. Каждый вечеръ всѣ вмѣстѣ играли въ крокетъ и совершали далекія прогулки. Центромъ была семья Маевскихъ. У нихъ были дѣти: Аня, Соня и Алеша, которыхъ очень полюбилъ А. П., часто возился съ ними, говорилъ глупости и описалъ ихъ въ „Дѣтворѣ". Батарея эта дала А. П-чу его свѣдѣнія по военной части („Поцѣлуй", „Три сестры"). Я слышалъ отъ брата Ивана Павловича, что почти передъ самой постановкой „Трехъ сестеръ" А. П. очень хотѣлъ повидаться (а можетъ быть, и повидался) съ бывшимъ тогда въ отставкѣ полковникомъ Маевскимъ, чтобы поговорить съ нимъ о военной части въ „Трехъ сестрахъ".

Въ двухъ верстахъ отъ Воскресенска была Чикинская земская больница, которой завѣдывалъ извѣстный тогда земскій врачъ П. А. Архангельскій. Къ нему съѣзжались на практику многіе студенты-медики и молодые врачи. Окончивъ курсъ въ университетѣ, А. П. на первыхъ порахъ хотѣлъ было заняться врачебной практикой и даже повѣсилъ вывѣску на дверяхъ: „Докторъ А. П. Чеховъ" и подавалъ прошеніе въ Московскую дѣтскую больницу, куда хотѣлъ опредѣлиться на службу. Скоро онъ близко сошелся съ П. А. Архангельскимъ, часто принималъ у него больныхъ и вообще любилъ бывать въ Чикинѣ. Больница эта дала ему темы для многихъ его разсказовъ („Хирургія", „Пашка", „Горе", „Бѣглецъ"). Въ Чикинскую больницу къ Архангельскому наѣзжалъ также и врачъ Звенигородской земской больницы С. П. Успен-

скій, молодой человѣкъ изъ семинаристовъ, говорившій на „о“ и со всѣми обращавшійся на „ты“.

— Послушай, Антонъ Павловъ, обратился онъ къ писателю,—я, братъ, поѣду въ отпускъ, а замѣнить меня некѣмъ... Послужи, братъ, ты за меня. Моя Пелагея будетъ тебя кормить. И гитара есть...

А. П. подумалъ, согласился и, взявъ меня съ собой, переѣхалъ въ Звенигородъ. Это жалкій городишко, въ которомъ находится административный центръ уѣзда. Всѣ правительственныя учрежденія помѣщались тамъ въ то время въ одномъ желтомъ домѣ на горѣ, въ томъ самомъ, про который въ одномъ изъ своихъ разсказовъ А. П. написалъ: „Здѣсь и юстиція, здѣсь и полиція, здѣсь и милиція—совсѣмъ институтъ благородныхъ дѣвицъ“. Завѣдуя Звенигородской земской больницей, А. П. ѣздилъ по обязанности на вскрытія и близко ознакомился со всѣмъ укладомъ уѣздной чиновничьей жизни. Уѣздные съѣзды мировыхъ судей, судебныя слѣдствія, поѣздки на вскрытія, — все это въ разсказахъ А. П-ча навѣяно ему Звенигородомъ. Еще раньше, у Маевскихъ въ Воскресенскѣ, мы познакомились съ мѣстнымъ непремѣннымъ членомъ А. С. Киселевымъ. И теперь, когда мы съ братомъ ходили на сессіи въ уѣздный съѣздъ, на который въ качествѣ члена пріѣхалъ и Киселевъ, то милый непремѣнный членъ во время разбирательства дѣлалъ намъ глазки.

А. С. Киселевъ жилъ въ 5 верстахъ отъ Воскресенска, въ своей усадьбѣ Бабкино, а самый Воскресенскъ отстоялъ отъ Звенигорода на 21 в. Племянникъ знаменитаго молдавскаго господаря и парижскаго посланника, графа П. Д. Киселева, Алексѣй Сергѣевичъ Киселевъ былъ женатъ на Маріи Владиміровнѣ Бегичевой, дочери В. П. Бегичева, извѣстнаго красавца и директора императорскихъ театровъ, описаннаго Маркевичемъ въ его романѣ „Четверть вѣка назадъ“. Самъ Владиміръ Петровичъ былъ въ это время въ отставкѣ и жилъ у своего зятя въ Бабкинѣ. Это былъ предобрѣйшій и преинтереснѣйшій человѣкъ, послу-

жившій А. П-чу оригиналомъ для графа Шабельскаго („Ивановъ“) и Гаева („Вишневый садъ“). Въ большомъ Бабкинскомъ домѣ онъ занималъ маленькую комнатку, обставленную по-женски, съ окнами, выходившими на рѣку и лѣсъ. Видъ изъ этихъ оконъ былъ нарисованъ художникомъ И. Левитаномъ и составилъ одну изъ лучшихъ его картинъ.

До 1885 г. мы бывали у Киселева въ Бабкинѣ только гостями, а съ этого года уже три лѣта подъ рядъ прожили въ самомъ Бабкинѣ на дачѣ, куда насъ пригласили сами Киселевы. Семья Киселевыхъ была одной изъ тѣхъ рѣдкихъ семей, въ которыхъ были еще живы сословныя традиціи и которыя въ то же время во всей округѣ были носителями культуры. Мы, братья Чеховы, цѣлыми часами засиживались въ комнатѣ у В. П. Бегичева, и онъ разсказывалъ намъ свои похожденія въ Россіи и заграницей. Ахъ, какой это былъ увлекательный человѣкъ! Съ какимъ юморомъ, я помню, онъ разсказывалъ одинъ изъ эпизодовъ, описанный А. П. въ разсказѣ „Володя“ (трагическій конецъ придѣланъ самимъ А. П-чемъ), и случай съ чихнувшимъ чиновникомъ, воспроизведенный братомъ въ разсказѣ „Смерть чиновника“. Марія Владиміровна, близко знавшая Даргомыжскаго, Чайковскаго, Сальвини,—разсказывала намъ о нихъ. Наѣзжавшій бывшій теноръ оперы М. П. Владиславлевъ (давшій славу извѣстному романсу „На горѣ, за рѣкой хуторочекъ стоитъ“), несмотря на старость, все еще пѣлъ романсы и выдерживалъ fermato по полторы минуты. Красивыя дѣти, Саша (дѣвочка) и Сережа, бѣгавшія по превосходному саду, въ которомъ, несмотря на близость людей и собакъ, безбоязненно днемъ и ночью пѣли соловьи, —дополняли картину земного счастья. Недалеко, по ту сторону рѣки, въ деревнѣ Максимовкѣ жилъ художникъ И. И. Левитанъ, хорошій другъ Антона П-ча. Было чрезвычайно интересно. Здѣсь, въ Бабкинѣ, случился „Налимъ“. Я какъ сейчасъ вижу и купальню, и мужиковъ, и пастуха.

Просыпались очень рано. Часовъ въ семь утра А. П. уже сидѣлъ у себя за столикомъ и писалъ. Писалъ онъ тогда въ „Осколки“ и въ „Петербургскую Газету“, и во всѣхъ почти разсказахъ того времени можно увидѣть ту или иную картину Бабкина, то или иное лицо изъ Бабкинскихъ обывателей или изъ обывателей тяготѣвшихъ въ Бабкину деревень. Обѣдали въ часъ. Послѣ обѣда всей компаніей шли по грибы въ Дараганов скій лѣсъ. А. П. былъ страстнымъ любителемъ искать грибы и во время ходьбы по лѣсу легче придумывалъ темы. Близъ Дараганов скаго лѣса стояла одинокая полевщинская церковь, всегда обращавшая на себя вниманіе покойнаго брата. Въ ней служили всегда только одинъ разъ въ годъ, на Казанскую, и по ночамъ до Бабкина долетали только унылые удары колокола, когда сторожъ звонилъ часы. Эта церковь, съ ея домикомъ для сторожа у почтовой дороги, кажется, дала брату мысль написать „Вѣдьму“ и „Недоброе дѣло“. Возвратившись изъ лѣсу, пили чай. Затѣмъ А. П. опять писалъ или игралъ въ крокетъ, а въ 8 час. ужинали. Послѣ ужина шли въ большой домъ къ Киселевымъ. Это были превосходные вечера. А. С. Киселевъ и В. П. Бегичевъ сидѣли у стола и раскладывали пасьянсы, гувернантка Елизавета Александровна аккомпанировала, теноръ Владиславлевъ пѣлъ, а мы всѣ, Чеховы, усаживались вокругъ Маріи Владиміровны и слушали ея разсказы о заграницѣ, о Чайковскомъ, Даргомыжскомъ, Сальвини. Бѣгали дѣти. Съ надворья доносилось или пѣніе соловьевъ, или же стукъ дождевыхъ капель о стекла. Пѣла и Марія Владиміровна. Я положительно могу утверждать, что любовь къ музыкѣ развилась у брата, А. П., именно здѣсь. Братъ шутилъ, былъ всегда веселъ, говорилъ глупости. Левитанъ рисовалъ въ альбомъ крымскіе виды, а А. П. дѣлалъ подъ его рисунками подписи слѣдующаго содержанія: „Видъ кипариса передъ вами, Василиса“. Василисой онъ называлъ дѣвочку Сашу Киселеву. Дѣти называли А. П-ча Васей. Когда разъ

А. П. поймалъ карася, дѣвочка сказала ему въ отместку: „Вася поймалъ кара́ся“. Въ эти вечера много говорилось о литературѣ, художествѣ, смаковали Тургенева, Писемскаго. Щедринъ не сходилъ съ устъ. Много читали. Получались всѣ толстые журналы.

Замѣчательно, что и И. И. Левитанъ, создатель школы русскаго пейзажа, началъ тоже съ Бабкина, куда вскорѣ же переселился изъ Максимовки.

Благодаря жизнерадостности и природы и милыхъ обитателей, А. П. и самъ былъ жизнерадостенъ. Онъ писалъ, критика его хвалила, сулила ему хорошее будущее, онъ былъ здоровъ. Иногда онъ дурилъ. Бывало, въ лѣтніе вечера онъ надѣвалъ съ Левитаномъ бухарскіе халаты, мазалъ себѣ лицо сажей и въ чалмѣ, съ ружьемъ, выходилъ въ поле по ту сторону рѣки. Левитанъ выѣзжалъ туда же на ослѣ, слѣзалъ на землю, разстилалъ коверъ и, какъ мусульманинъ, начиналъ молиться на востокъ. Вдругъ изъ-за кустовъ къ нему подкрадывался бедуинъ-Антонъ Павл. и палилъ въ него изъ ружья холостымъ зарядомъ. Левитанъ падалъ навзничъ. Получалась совсѣмъ восточная картина... А то, бывало, судили Левитана. Киселевъ былъ предсѣдателемъ суда, Антонъ Павл. — прокуроромъ, спеціально для чего гримировался. Оба были въ мундирахъ, шитыхъ золотомъ. Братъ говорилъ обвинительную рѣчь, отъ которой всѣ умирали отъ хохота. Гостившій тогда у насъ старшій братъ, Александръ П. защищалъ. Были и присяжные и стража. Антонъ Павл. всегда былъ весельчакомъ и большимъ юмористомъ.

Въ Бабкинѣ мы прожили три лѣта подъ рядъ, пріѣзжали туда и зимою. А 1887-й годъ былъ для А. П-ча роковымъ. Вотъ что писалъ онъ тогда къ брату Николаю:

...„Кто мнитъ себя виноватымъ, тотъ всегда ищетъ себѣ оправданія извнѣ: пьяница ссылается на горе, П.—на цензуру. Брось я сейчасъ семью на произволъ судьбы, я старался бы найти себѣ извиненіе въ кровохарканіи“.

Слѣдовательно, чахоткою А. П. захворалъ уже въ 1887 году, вскорѣ по возвращеніи изъ Бабкина въ Москву. Къ тому же тогда онъ очень плохо спалъ, спалъ тревожно, скрежеталъ зубами, видѣлъ тяжкіе сны. Среди сна его что-то, какъ онъ говорилъ, „дергало“, внутри его что-то съ болью обрывалось, и онъ буквально на полъ-аршина подскакивалъ всѣмъ тѣломъ надъ кроватью и въ ужасѣ пробуждался. Впослѣдствіи, чтобы только заснуть, онъ выпивалъ на ночь по бутылкѣ подчасъ дрянного, деревенскаго, кабацкаго пива. Сны ему снились страшные. Одинъ разъ, уже въ Мелиховѣ, его испугалъ во снѣ черный монахъ, который послужилъ потомъ темой для разсказа того же названія.

У меня сохранился черновикъ письма А. П-ча къ Григоровичу. Вотъ что пишетъ онъ въ немъ о своихъ снахъ:

„Когда ночью спадаетъ съ меня одѣяло, я начинаю видѣть во снѣ громадные склизкіе камни, холодную осеннюю воду, голые берега,—все это неясно, въ туманѣ, безъ клочка голубого неба; въ уныніи и въ тоскѣ, точно заблудившійся, я гляжу на камни и чувствую почему-то неизбѣжность перехода черезъ глубокую рѣку; вижу я въ это время маленькіе буксирные пароходики, которые тащатъ громадныя барки, плавающія бревна... Все въ безконечности сурово, уныло, сыро. Когда же я бѣгу отъ рѣки, то встрѣчаю на пути обвалившіяся ворота кладбища, похороны, своихъ гимназическихъ учителей, И въ это время весь я проникнутъ тѣмъ тяжелымъ, кошмарнымъ холодомъ, какой немыслимъ наяву и ощущается только спящимъ... Мнѣ кажется, что родись и живи я постоянно въ Петербургѣ, мнѣ снились бы непремѣнно берега Невы, Сенатская площадь, массивные фундаменты“.

Тогда же начался въ литературѣ брата переломъ. Начался онъ съ „Панихиды“, впервые напечатанной въ „Новомъ Времени“, и затѣмъ уже во всѣхъ его послѣдующихъ разсказахъ стала звучать грустная нотка.

О сотрудничествѣ въ „Осколкахъ“ онъ уже не думалъ: въ „Новомъ Времени“ для него открылись спеціальные „субботники“, да и года, повидимому, стали брать свое. Онъ сильно сталъ кашлять по ночамъ. Сталъ серьезенъ, разсудителенъ, сталъ рѣже шутить, говорить глупости. Затѣянный имъ костюмированный вечеръ, когда мы жили на Якиманкѣ, былъ послѣднимъ, когда онъ гримировался. Именно къ этому времени принадлежитъ его письмо къ покойному брату Николаю о личной порядочности. Вотъ его содержаніе:

„Воспитанные люди, по моему мнѣнію, должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

1) Они уважаютъ человѣческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вѣжливы, уступчивы... Живя съ кѣмъ-нибудь, они не дѣлаютъ изъ этого одолженія, а уходя не говорятъ: „Съ вами жить нельзя!“ Они прощаютъ и шумъ, и холодъ, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствіе въ ихъ жильѣ постороннихъ...

2) Они сострадательны не къ однимъ только нищимъ и кошкамъ. Они болѣютъ душой и отъ того, чего не увидишь простымъ глазомъ. Они ночей не спятъ, чтобы помогать П., платить за братьевъ-студентовъ, одѣвать мать...

3) Они уважаютъ чужую собственность, а потому и платятъ долги.

4) Они чистосердечны и боятся лжи, какъ огня. Не лгутъ они даже въ пустякахъ. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляетъ въ его глазахъ говорящаго. Они не рисуются, держатъ себя на улицѣ такъ же, какъ дома, не пускаютъ пыли въ глаза меньшей братіи... Они не болтливы и не лѣзутъ съ откровенностями, когда ихъ не спрашиваютъ... Изъ уваженія къ чужимъ ушамъ, они чаще молчатъ...

5) Они не уничижаютъ себя съ тою цѣлью, чтобы вызвать въ другомъ сочувствіе. Они не играютъ на струнахъ чужихъ душъ, чтобъ въ отвѣтъ имъ вздыхали и няньчились съ ними. Они не говорятъ: „Меня

не понимаютъ!“ или: „Я размѣнялся на мелкую монету!“ потому что все это бьетъ на дешевый эффектъ, пошло, старо, фальшиво.

6) Они не суетны. Ихъ не занимаютъ такіе фальшивые брилліанты, какъ знакомство съ знаменитостями, рукопожатіе пьянаго П., восторгъ встрѣчнаго въ salon'ѣ, извѣстность по портернымъ. Они смѣются надъ фразой: „Я представитель печати!!“ Дѣлая на грошъ, они не носятся со своей папкой на сто рублей и не хвастаютъ тѣмъ, что ихъ пустили туда, куда другихъ не пустили... Истинные таланты всегда сидятъ въ потемкахъ, въ толпѣ, подальше отъ выставки... Даже Крыловъ сказалъ, что пустую бочку слышнѣе, чѣмъ полную.

7) Если они имѣютъ въ себѣ талантъ, то уважаютъ его. Они жертвуютъ для него покоемъ, женщинами, виномъ, суетой... Они горды своимъ талантомъ, сознавая, что они призваны воспитывающе вліять. Къ тому же они брезгливы.

8) Они воспитываютъ въ себѣ эстетику. Они не могутъ уснуть въ одежѣ, видѣть на стѣнѣ щели съ клопами, дышать дряннымъ воздухомъ, шагать по оплеванному полу, питаться изъ керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инстинктъ... Имъ нужны отъ женщины не постель, не лошадиный потъ, не умъ, выражающійся въ умѣньи лгать безъ устали... Имъ, особливо художникамъ, нужны свѣжесть, изящество, человѣчность, способность быть матерью. Они не трескаютъ походя водку, не нюхаютъ шкафовъ, ибо они знаютъ, что они не свиньи. Пьютъ они только, когда свободны, при случаѣ... Ибо имъ нужна **mens sana in corpore sano**.

„И т. д. Таковы воспитанные. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, въ которую попалъ, не достаточно прочесть только „Пикквика“ и вызубрить монологъ изъ „Фауста“... Тутъ нужны безпрерывный дневной и ночной трудъ, вѣчное чтеніе, штудировка, воля... Тутъ дорогъ каждый часъ...“

Годъ спустя, у А. П—ча начинается какая-то лихорадочная дѣятельность. Точно онъ хочетъ что-то наверстать. Онъ много пишетъ, въ 1888 г. ѣдетъ въ Крымъ, въ Святыя Горы („Святою ночью“ и „Перекати поле“), затѣмъ въ Абхазію, въ Тифлисъ, за границу. Въ 1890 г. отправляется на Сахалинъ; едва только возвращается оттуда черезъ Индію, какъ вскорѣ же уѣзжаетъ въ Ниццу. Я убѣжденъ, что на этотъ разъ онъ уѣхалъ въ Ниццу именно отъ чахотки.

Интересно его письмо съ Кавказа отъ 28 іюля 1888 года.

„Паршивенькій грузовой пароходъ Диръ мчится на всѣхъ парахъ (8 узловъ въ часъ) отъ Сухума до Поти. Двѣнадцатый часъ ночи. Въ маленькой каюткѣ, единственной на пароходѣ и похожей на в.-к., нестерпимо душно и жарко. Воняетъ гарью, канатомъ, рыбой и моремъ. Слышно, какъ работаетъ машина: „бумъ, бумъ, бумъ“... Надъ головой и подъ поломъ скрипитъ нечистая сила... Темнота качается въ каюткѣ, а кровать то поднимается, то опускается... Все вниманіе желудка устремлено на кровать, и онъ, словно нивеллируя, то подкатываетъ выпитую сельтерскую воду къ самому горлу, то опускаетъ ее къ пяткамъ... Чтобы не облевать въ потемкахъ одежи, быстро одѣваюсь и выхожу. Темно... Ноги мои спотыкаются о какія-то невидимыя желѣзныя шпалы, о канатъ; куда ни ступишь, всюду бочки, мѣшки, тряпье... Подъ подошвами угольный мусоръ... Наталкиваюсь въ потемкахъ на что-то рѣшотчатое: это клѣтка съ козулями, которыхъ я видѣлъ днемъ; онѣ не спятъ и съ тревогой прислушиваются къ качкѣ... Около клѣтки сидятъ два турка и тоже не спятъ... Ощупью взбираюсь по лѣстничкѣ на капитанскую рубку... Теплый, но рѣзкій и противный вѣтеръ хочетъ сорвать съ меня фуражку... Качаетъ... Мачта впереди рубки качается мѣрно и не спѣша, какъ метрономъ; стараюсь отвести отъ нея глаза, но глаза не слушаются и вмѣстѣ съ желудкомъ слѣдятъ только за тѣмъ, что движется. Море и небо

темны, береговъ не видно, палуба представляется чернымъ пятномъ... Ни огонька.

„Сзади меня окно. Гляжу въ него и вижу человѣка съ лицомъ Павла Михайловича. Онъ внимательно глядитъ на что-то и вертитъ колесо съ такимъ видомъ, какъ будто исполняетъ девятую симфонію... Рядомъ со мной стоитъ маленькій, толстенькій капитанъ въ желтыхъ башмакахъ. Онъ разговариваетъ со мной о кавказскихъ переселенцахъ, о духотѣ, о зимнихъ буряхъ и въ то же время напряженно вглядывается въ темную даль и въ сторону берега...

— А ты, кажется, опять забираешь влѣво! говоритъ онъ между прочимъ кому-то; или: — Тутъ должны быть видны огоньки... Видишь?

— Никакъ нѣтъ! отвѣчаетъ кто-то изъ потемокъ.

— Полѣзай на верхнюю площадку и погляди!

„Темная фигура вырастаетъ на рубкѣ и не спѣша лѣзетъ куда-то вверхъ. Черезъ минуту слышно:

— Есть!

„Всматриваюсь влѣво, гдѣ должны быть огоньки маяка, беру у капитана бинокль и ничего не вижу... Проходитъ полчаса, часъ... Мачта мѣрно качается, нечистая сила скрипитъ, вѣтеръ покушается на фуражку... Тошноты нѣтъ, но жутко...

„Вдругъ капитанъ срывается съ мѣста и со словами: „Черрртова кукла!“ бѣжитъ куда-то назадъ.

— Влѣво! кричитъ онъ съ тревогой во все горло.— Влѣво... вправо! Аря... ва... а-а!..

„Слышится непонятная команда; пароходъ вздрагиваетъ, нечистая сила взвизгиваетъ... „Ава-а-ва!“ кричитъ капитанъ. У самаго носа звонятъ въ колоколъ, на черной палубѣ бѣготня, стукъ, тревожные крики... Диръ еще разъ вздрагиваетъ, напряженно пыхтитъ и, кажется, хочетъ дать задній ходъ.

— Что такое? спрашиваю я и чувствую что-то въ родѣ маленькаго ужаса. Отвѣта нѣтъ.

— Столкнуться хочетъ, черртова кукла! слышится рѣзкій крикъ капитана.

— Влѣ-ѣ-ва-а!

„У носа показываются какіе-то красные огни и вдругъ раздается среди шума свистъ не Дира, а какого-то другого парохода... Теперь понятно: мы столкнемся! Диръ пыхтитъ, дрожитъ и какъ будто не движется, ожидая, когда ему итти ко дну... (Тутъ со мной происходитъ маленькое недоразумѣніе, продолжавшееся не болѣе полуминуты, но доставившее мнѣ немало мученій... Полминуты я былъ убѣжденъ въ томъ, что *я* погубилъ пароходъ. О недоразумѣніи разскажу при свиданіи, писать же о немъ длинно, нѣтъ мочи).

„Но вотъ, когда по моему мнѣнію все уже погибло, слѣва показываются красные огни и начинаетъ вырисовываться силуэтъ парохода... Длинное, черное тѣло плыветъ мимо, виновато мигаетъ красными глазами и виновато свиститъ.

— Уфъ! Какой это пароходъ? спрашиваю я капитана.

„Капитанъ смотритъ въ бинокль на силуэтъ и говоритъ:

— Это Твиди.

„Послѣ нѣкотораго молчанія заводимъ рѣчи о Вестѣ, которая столкнулась съ двумя пароходами и погибла. Подъ вліяніемъ этого разговора море, ночь, вѣтеръ начинаютъ казаться отвратительными, созданными на погибель человѣка, и глядя на толстенькаго капитана, я чувствую жалость... Мнѣ что-то шепчетъ, что этотъ бѣднякъ рано или поздно тоже пойдетъ ко дну и захлебнется соленой водой...

„Иду къ себѣ въ каютку... Душно и воняетъ кухней. Раздѣваюсь донага и ложусь... Темнота колеблется, кровать словно дышитъ... Бумъ, бумъ, бумъ!.. Обливаясь потомъ, задыхаясь и чувствуя во всемъ тѣлѣ тяжесть отъ качки, я спрашиваю себя: „Зачѣмъ я здѣсь?“

„Просыпаюсь... Уже не темно... Весь мокрый, съ противнымъ вкусомъ во рту, одѣваюсь и выхожу... Все покрыто росой... Козули глядятъ по-человѣчески

сквозь рѣшетку и, кажется, хотятъ спросить: „Зачѣмъ мы здѣсь?“ Капитанъ по прежнему стоитъ неподвижно и всматривается въ даль.

„Налѣво тянется гористый берегъ... Виденъ Эльборусъ изъ-за горъ. Восходитъ мутное солнце... Видна зеленая Ріонская долина, а возлѣ нея Потійская бухта“...

По возвращеніи братъ разсказывалъ мнѣ, почему именно онъ считалъ себя причиной возможнаго столкновенія Дира и Твиди. Въ суматохѣ, во время качки, онъ пошатнулся, потерялъ равновѣсіе и, чтобы не упасть, ухватился за что-то, что тоже подалось въ сторону. Это оказался телеграфъ въ машину. Братъ хотѣлъ поставить его на прежнее мѣсто, но не сумѣлъ. Предсказаніе брата относительно капитана оправдалось отчасти: въ ту же осень Диръ погибъ у береговъ Алупки.

Лѣто 1888 и 89 гг. братъ провелъ на дачѣ въ Харьковской губ., въ усадьбѣ Лука Сумского уѣзда; но, сколько знаю, въ исторіи его творчества усадьба эта не играла особой роли. Я не могу указать ни одного мѣста въ его разсказахъ, гдѣ бы можно было узнать Луку. Сюда пріѣзжали къ намъ гостить А. Н. Плещеевъ, П. М. Свободинъ, А. С. Суворинъ и К. С. Баранцевичъ. Ловили раковъ, рыбу, слушали дуэты віолончели и рояля, но уже не было того розмаха молодости, той жизнерадостности, которыми сопровождалась жизнь въ Бабкинѣ. Къ тому же здѣсь мы похоронили нашего брата Николая, умершаго отъ чахотки... Послѣ похоронъ ѣздили въ Ахтырку и въ Сорочинцы Полтавской губ.; но и эти чудесныя поѣздки не оставили слѣда въ произведеніяхъ брата. Малороссію онъ любилъ лишь платонически.

Затѣмъ А. П. уѣхалъ на Сахалинъ. Собрался онъ туда какъ то сразу, вдругъ. Тогда я кончалъ курсъ въ университетѣ и подъ впечатлѣніемъ моихъ лекцій (я — юристъ) онъ сразу засуматошился, засбирался. Начались подготовительныя работы къ поѣздкѣ. Онъ

собиралъ матеріалы. Знакомыя барышни дѣлали для него выписки въ Румянцевской библіотекѣ, онъ доставалъ откуда-то фоліанты о Сахалинѣ. Работа кипѣла. Въ апрѣлѣ 1900 г. братъ двинулся въ далекій путь. Желѣзной дороги тогда еще не было, приходилось ѣхать рѣками и на тарантасѣ, а затѣмъ возвращаться черезъ Индійскій океанъ. Эта поѣздка дала ему „Въ ссылкѣ“ и „Гусева“. Своему же „Острову Сахалину“ онъ придавалъ серьезное значеніе. Это я вывожу изъ его фразы, съ которой онъ разъ обратился ко мнѣ:

— А что, Миша, если за эту штуку да мнѣ дадутъ степень доктора медицины, honoris causa, а?

Но этой степени ему не дали. Вѣроятно, не догадались.

Лѣто 1891 г. братъ провелъ въ усадьбѣ Богимово Калужской губ. Здѣсь мы снимали домъ еще екатерининскихъ временъ, гдѣ, чтобы перейти черезъ залу, наша мать присаживалась на полпути отдохнуть. Такъ велики были комнаты. Брату здѣсь очень нравилось. Изъ оконъ дома открывался великолѣпный видъ на усадьбу Даньково, которую, помню, брату очень хотѣлось купить. Этотъ домъ и усадебка Даньково (но не лица въ нихъ) описаны въ разсказѣ „Домъ съ мезониномъ“. Въ Богимовѣ А. П. написалъ свою „Дуэль“.

Въ 1892 г. братъ пріобрѣлъ уже свое собственное имѣніе Мелихово. Здѣсь онъ прожилъ безвыѣздно до того самаго времени, когда чахотка заставила его окончательно покончить съ Россіей, бросить все и переѣхать на постоянное жительство въ Крымъ. О Мелиховѣ и о жизни брата въ Мелиховѣ уже писалось подробно и много въ разныхъ газетахъ вскорѣ послѣ его смерти. О братѣ, какъ о человѣкѣ, напечатано въ сборникахъ „Знанія“; писалъ и М. Горькій... Было уже нѣсколько воспоминаній, посвященныхъ его памяти. Я не имѣлъ въ виду писать о немъ, какъ о человѣкѣ, Приведу еще только одну подробность и закончу.

Братъ былъ выше предразсудковъ, но одно совпаденіе удивляло всякій разъ и его и другихъ, кто бывалъ въ тѣ минуты съ нимъ. Это—звонъ. Въ какую бы пору дня или ночи братъ ни проѣзжалъ мимо церкви, — всегда раздавался на ней звонъ.

— Ну, вотъ слушай... всякій разъ обращался онъ ко мнѣ, когда мы подходили или подъѣзжали къ церкви.—Сейчасъ будутъ звонить... Я—Потемкинъ!

И дѣйствительно, начинался звонъ. Былъ ли то благовѣстъ или ударяли часы, а то просто слышался изъ открытаго окна алтаря бой часовъ,—но звонъ все-таки раздавался. Конечно, это было совпаденіе. Мы смѣялись.

— Я — Потемкинъ! почему-то говорилъ при этомъ братъ.

О звонѣ знаетъ и А. С. Суворинъ.

Памяти Чехова.

И. Бунинъ.

Памяти Чехова.

Я познакомился съ Чеховымъ въ Москвѣ, въ концѣ девяносто пятаго года. Видѣлись мы тогда мелькомъ, и я не упомянулъ бы объ этой встрѣчѣ, если бы мнѣ не запомнилось нѣсколько фразъ, очень, по-моему, характерныхъ для Чехова даже по ихъ тону.

— Вы много пишете? — между прочимъ, спросилъ онъ меня.

Я отвѣтилъ, что мало.

— Напрасно, — почти угрюмо сказалъ онъ своимъ низкимъ груднымъ баритономъ.—Нужно, знаете, работать... Не покладая рукъ... всю жизнь.

И, помолчавъ, безъ видимой связи прибавилъ:

— По-моему, написавъ разсказъ, слѣдуетъ вычеркивать его начало и конецъ. Тутъ мы, беллетристы, больше всего времъ...

Потомъ разговоръ зашелъ о стихахъ, и онъ вдругъ оживленно спросилъ:

— Послушайте, а стихи Алексѣя Толстого вы любите? Вотъ, по-моему, актеръ! Какъ надѣлъ въ молодости оперный костюмъ, такъ на всю жизнь и остался.

Послѣ этихъ мимолетныхъ встрѣчъ, этихъ случайныхъ разговоровъ, нѣсколько фразъ которыхъ я привожу только потому, что въ нихъ были затронуты любимыя темы Чехова—о томъ, что надо работать „не покладая рукъ“ и быть въ работѣ до аскетизма правдивымъ и простымъ,—мы не видѣлись до весны девяносто девятаго года. Въ апрѣлѣ этого года я пріѣхалъ на нѣсколько дней въ Ялту и однажды вечеромъ встрѣтилъ Чехова на набережной.

— Почему вы не заходите ко мнѣ?—было его первыми словами.—Непремѣнно приходите завтра.

— Когда?—спросилъ я.

— Утромъ, часу въ восьмомъ.

И, вѣроятно, замѣтивъ на моемъ лицѣ удивленіе, онъ пояснилъ:

— Мы встаемъ рано. А вы?

— Я тоже,—сказалъ я.

— Ну, такъ вотъ и приходите, какъ встанете. Будемъ пить кофе. Вы пьете кофе?

— Изрѣдка пью.

— Пейте каждый день. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульономъ. Утромъ—кофе, въ полдень—бульонъ. А то на сытый желудокъ плохо работается.

Я поблагодарилъ за приглашеніе и замолчалъ, обрадованный и взволнованный. Онъ тоже замолчалъ, и такъ мы прошли всю набережную и сѣли въ скверѣ на скамью.

— Любите вы море?—сказалъ я, чтобы сказать что-нибудь.

— Да, — отвѣчалъ онъ. — Только ужъ очень оно пустынно.

— Это-то и хорошо,—сказалъ я.

— Не знаю, — отвѣтилъ онъ, глядя куда-то вдаль сквозь стекла пенснэ и, очевидно, думая о чемъ-то своемъ.—По-моему, хорошо быть офицеромъ, молодымъ студентомъ... Сидѣть гдѣ-нибудь въ людномъ мѣстѣ, слушать веселую музыку...

И, по своей манерѣ, помолчалъ и безъ видимой связи прибавилъ:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описаніе моря я читалъ недавно въ одной ученической тетрадкѣ? „Море было большое". И только. По-моему, очень хорошо!

Можетъ быть, вышеприведенныя фразы покажутся кому-нибудь странными или манерными. Но я не боюсь ихъ приводить, — даже подчеркиваю, что считаю ихъ характерными для Чехова. Чеховъ и манерность! Поставить рядомъ эти два слова могутъ только тѣ, которые не имѣютъ никакого понятія о Чеховѣ. А кто же не знаетъ, что одна изъ самыхъ яркихъ его особенностей есть именно отсутствіе манерности, полное отсутствіе всяческихъ условностей и всяческихъ ухищреній, которыми мы улавливаемъ другъ друга въ свои сѣти.

„Скажу прямо,—говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ одинъ изъ знавшихъ Чехова,—я встрѣчалъ людей не менѣе искреннихъ, чѣмъ Чеховъ, но людей до такой степени простыхъ, чуждыхъ всякой фразы и аффектировки, я не помню".

И это святая правда. Онъ горячо любилъ все искренное, жизненное, органическое, — если только оно не было грубо и косно,—и положительно не выносилъ фразеровъ, книжниковъ и фарисеевъ, особенно тѣхъ изъ нихъ, которые настолько вошли въ свои роли, что роли стали ихъ вторыми натурами. Въ своихъ работахъ онъ почти никогда не говорилъ о себѣ, о своихъ вкусахъ, о своихъ взглядахъ, что̀ и повело, кстати сказать, къ тому, что его долго считали человѣкомъ безпринципнымъ, необщественнымъ... Въ жизни онъ также никогда не носился со своимъ „я"; очень

рѣдко говорилъ о своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ: „я люблю то-то“... „я не выношу того-то“... это не Чеховскія фразы... Но симпатіи и антипатіи его были чрезвычайно устойчивы и опредѣленны, и среди его симпатій одно изъ первыхъ мѣстъ занимала именно естественность. И, конечно, только его постоянной жаждой наивысшей простоты, его отвращеніемъ ко всему вычурному, неестественному и напряженному объясняется его замѣчаніе о наивной прелести дѣтскаго описанія моря. А въ его словахъ объ офицерѣ и музыкѣ сказалась другая его особенность: сдержанность. Неожиданный переходъ отъ моря къ офицеру былъ, несомнѣнно, вызванъ его затаенной грустью о молодости, о здоровьѣ. Море пустынно... а онъ любилъ жизнь, радость, и за послѣдніе годы эта жажда радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, особенно часто сказывалась въ его разговорѣ. Но именно только сказывалась: ставить точки надъ і онъ не любилъ.

Слова за послѣднее время стали очень дешевы. И хорошія, и дурныя слова произносятся теперь съ удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего такъ говорятъ объ умершихъ. Очень много легкости, лжи, неточностей, а порою—просто скудоумія можно встрѣтить и въ воспоминаніяхъ о Чеховѣ. Пишутъ же, напримѣръ, что Чеховъ происходилъ чуть ли не изъ мужицкой семьи, что отецъ его былъ прасолъ, что Чеховъ поѣхалъ на Сахалинъ за тѣмъ, чтобы поддержать репутацію „серьезнаго“ человѣка, и въ дорогѣ такъ простудился, что нажилъ чахотку... Пишутъ даже такой вздоръ, какъ то, что смерть Чехова была ускорена постановкой „Вишневаго сада“: наканунѣ спектакля, сказано въ одной брошюркѣ о Чеховѣ, Чеховъ такъ волновался, такъ боялся, что его пьеса не понравится публикѣ, что всю ночь бредилъ... Все это, повторяю, сущій вздоръ. Дѣдъ Чехова только въ ранней молодости былъ крѣпостнымъ, а затѣмъ откупился на волю и служилъ управляющимъ у графа Панина,— и, кстати сказать, былъ очень живой и талантливый

человѣкъ; мать Чехова происходитъ изъ купеческаго рода Морозовыхъ; отецъ воспитывался и почти всю жизнь прожилъ въ городѣ, занимаясь сперва бакалейной торговлей въ Таганрогѣ, потомъ въ конторѣ купцовъ Гавриловыхъ въ Москвѣ, а съ тѣхъ поръ, какъ сыновья стали на ноги,—главнымъ образомъ, чтеніемъ, къ которому имѣлъ исключительную склонность.... Въ томъ, что Чеховъ поѣхалъ на Сахалинъ за репутаціей „серьезнаго“ человѣка, тоже нѣтъ ни слова правды: никогда въ жизни Чеховъ не игралъ ролей,—это было діаметрально противоположно его натурѣ. Поѣхалъ онъ на Сахалинъ потому, что его интересовалъ Сахалинъ, и еще потому, что въ путешествіи онъ хотѣлъ встряхнуться послѣ смерти брата Николая, талантливаго художника. И чахотку онъ нажилъ не въ Сибири,—о томъ, что его легкія „хрипятъ“, онъ упоминалъ въ письмахъ къ сестрѣ еще въ 87 г.,—хотя несомнѣнно, что ѣздить ему не слѣдовало: взять хотя бы этотъ страшно тяжелый двухмѣсячный путь на перекладныхъ, ранней весной, въ дождь и въ холодъ, почти безъ сна и положительно на пищѣ св. Антонія, благодаря дикости сибирскихъ трактовъ,—путь, о которомъ Чеховъ писалъ роднымъ съ удивительнымъ спокойствіемъ, а чаще всего даже въ шутку! Что же касается до волненій о „Вишневомъ садѣ“, то это выдумано ужъ просто нелѣпо. Пишущіе, конечно, очень чувствительны къ тому, что говорятъ о нихъ, и много, много есть въ пишущихъ чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической... Но, Боже мой, какъ все это далеко отъ такого большого и сильнаго человѣка, какъ Чеховъ! Конечно, и его волновало отношеніе къ нему толпы, но вѣдь рѣдко кто съ такимъ мужествомъ слѣдовалъ велѣніямъ своего сердца, а не велѣніямъ толпы, какъ онъ, и немногіе умѣли такъ, какъ онъ, скрывать ту острую боль, которую причиняетъ человѣческому уму человѣческая глупость. Намъ извѣстенъ, по крайней мѣрѣ, только одинъ вечеръ, когда Чеховъ былъ явно потрясенъ неуспѣхомъ,—вечеръ

постановки „Чайки“ въ Петербургѣ. Но съ тѣхъ поръ много воды утекло... Если бы „Вишневый садъ“ и потерпѣлъ неуспѣхъ, спокойно взглянули бы на этотъ неуспѣхъ его благородные и уже усталые глаза... Да и кто могъ знать, волнуется онъ или нѣтъ? Того, что совершалось въ глубинѣ его души, никогда не знали во всей полнотѣ даже самые близкіе ему люди. А что же сказать о постороннихъ и особенно о тѣхъ не чуткихъ и не умныхъ, имя которымъ, поистинѣ, легіонъ, и къ откровенности съ которыми Чеховъ былъ органически неспособенъ?

Мальчикомъ Чеховъ былъ, по словамъ его школьнаго товарища Сергѣенко, „вялымъ увальнемъ съ лунообразнымъ лицомъ“. Я, судя по портретамъ и по разсказамъ родныхъ Чехова, представляю его себѣ иначе. Слово „увалень“ совсѣмъ не подходитъ къ хорошо сложенному, выше средняго роста мальчику. И лицо у него было не „лунообразное“, а просто—большое, очень умное и очень спокойное лицо. Вотъ это-то спокойствіе и дало, вѣроятно, поводъ считать мальчика Чехова „увальнемъ“,—спокойствіе, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было—даже въ послѣдніе годы. Но и спокойствіе это было, мнѣ кажется, особенное,—спокойствіе мальчика, въ которомъ зрѣли большія, свѣжія силы, рѣдкая наблюдательность и рѣдкій юморъ. Да и какъ, въ противномъ случаѣ, согласовать слова Сергѣенко съ разсказами матери и братьевъ Чехова о томъ, что въ дѣтствѣ „Антоша“ былъ неистощимъ на выдумки, которыя заставляли хохотать до слезъ даже суроваго въ ту пору Павла Егоровича! Какъ объяснить то, что этотъ „увалень“ учился сравнительно очень недурно, едва заглядывая въ учебники?.. Въ юности,— въ тѣ счастливые дни, когда ему доставляло удовольствіе проектировать такія произведенія, какъ „Искусственное разведеніе ежей,— руководство для сельскихъ хозяевъ“,—это спокойствіе какъ бы потонуло въ пышномъ расцвѣтѣ прирожденной Чехову жизнерадостности: всѣ, кто знали его въ

эту пору, говорятъ о неотразимомъ очарованіи его веселости, красоты его открытаго, простого, но ярко одухотвореннаго лица и его лучистыхъ, честныхъ глазъ... Но годы шли, жизненный опытъ возрасталъ, духъ и мысль становились все глубже и прозорливѣе—и Чеховъ снова овладѣлъ собою. Это было время, когда онъ, смѣло отдавъ дань молодости, первымъ непосредственнымъ проявленіямъ своей богатой натуры, уже приступилъ къ суровому въ своей художественной неподкупности изображенію дѣйствительности. И мои первыя встрѣчи съ нимъ относятся именно къ этому времени.

Въ Москвѣ, въ девяносто пятомъ году, я увидѣлъ человѣка среднихъ лѣтъ, въ пенснэ, одѣтаго просто и пріятно, довольно высокаго, очень стройнаго и очень легкаго въ движеніяхъ. Встрѣтилъ онъ меня привѣтливо, но такъ просто, что я, — тогда еще юноша, не привыкшій къ такому тону при первыхъ встрѣчахъ,— принялъ эту благородную простоту за холодность... Въ Ялтѣ я нашелъ его уже сильно измѣнившимся: онъ похудѣлъ, потемнѣлъ въ лицѣ; во всемъ его обликѣ попрежнему сквозило присущее ему изящество,— однако, это было изящество уже не молодого, а много пережившаго и еще болѣе облагороженнаго пережитымъ человѣка. И голосъ его звучалъ уже мягче... Но, въ общемъ, по обращенію, онъ былъ почти тотъ же, что и въ Москвѣ: привѣтливъ, но сдержанъ, говорилъ довольно оживленно, но еще болѣе просто и кратко, и во время разговора все думалъ о чемъ-то своемъ, предоставляя собесѣднику самому улавливать переходы въ скрытомъ теченіи своихъ мыслей, и все глядѣлъ на море сквозь стекла пенснэ, слегка приподнявъ лицо...

На другое утро, послѣ встрѣчи на набережной, я поѣхалъ къ нему на дачу. Ясно помню это веселое, солнечное утро, которое мы провели съ Чеховымъ въ его садикѣ. Онъ былъ очень оживленъ, много шутилъ и, между прочимъ, прочиталъ мнѣ един-

ственное, какъ онъ говорилъ, стихотвореніе, написанное имъ: „Зайцы, басня для дѣтей“.

Шли однажды черезъ мостикъ
Жирные китайцы;
Впереди ихъ, задравъ хвостикъ,
Поспѣшали зайцы.

Вдругъ китайцы закричали:
„Стой, лови! Ахъ! Ахъ!“
Зайцы выше хвостъ задрали
И попрятались въ кустахъ.

Мораль сей басни такъ ясна:
Кто хочетъ зайцевъ кушать,
Тотъ ежедневно, вставъ отъ сна,
Папашу долженъ слушать.

Съ тѣхъ поръ я началъ бывать у него все чаще и чаще, а потомъ сталъ и совсѣмъ своимъ человѣкомъ въ его домѣ. Сообразно съ этимъ, конечно, измѣнилось и отношеніе ко мнѣ Чехова. Оно стало оживленнѣе, сердечнѣе... Но сдержанность осталась; и проявлялась она не только въ обращеніи со мной, но и съ людьми самыми близкими ему, и означала она, какъ я убѣдился потомъ, не равнодушіе, а нѣчто гораздо большее...

Бѣлая каменная дача въ Ауткѣ, такая красивая и стройная подъ яркимъ, южнымъ солнцемъ и синимъ небомъ; ея маленькій садикъ, который съ такой заботливостью разводилъ Чеховъ, всегда любившій цвѣты, деревья и животныхъ; его кабинетъ, украшеніемъ котораго служили только двѣ-три картины Левитана да огромное полукруглое окно, открывавшее видъ на утонувшую въ садахъ долину рѣки Учанъ-Су и синій треугольникъ моря; тѣ часы, дни, иногда даже мѣсяцы, которые я проводилъ на этой дачѣ, и то сознаніе близости къ человѣку, который плѣнялъ меня не только своимъ умомъ и талантомъ, но даже своимъ суровымъ голосомъ и своей дѣтской улыбкой—останутся навсегда одними изъ самыхъ лучшихъ воспоминаній моей жизни. Былъ и онъ настроенъ ко мнѣ дружески... по крайней мѣрѣ, такъ чувствовалось по его письмамъ, по той радостной улыбкѣ, съ которой

онъ всегда встрѣчалъ меня... Къ тому, что я пишу, онъ тоже относился очень хорошо... Но та сдержанность, о которой я упомянулъ, не покидала его даже въ самыя задушевныя минуты нашихъ разговоровъ, а про его отношеніе къ тому, что я пишу, я узналъ, какъ слѣдуетъ, только послѣ его смерти, изъ газетъ: самъ онъ почти никогда не говорилъ мнѣ объ этомъ. Скажу даже болѣе: онъ былъ рѣдкій семьянинъ, онъ нѣжно любилъ мать, сестру, братьевъ, но и съ ними онъ держался такъ, что очень многіе думали, что онъ почти равнодушенъ къ нимъ... И такъ во всемъ.

Онъ былъ великій юмористъ,— но обратите вниманіе на его юмористическія произведенія, даже на тѣ изъ нихъ, надъ которыми можно хохотать до слезъ: ни одного каламбура, ни одного краснаго словечка, ни одного жеста въ сторону читателя! Онъ любилъ смѣхъ, но смѣялся своимъ милымъ, заразительнымъ смѣхомъ только тогда, когда кто-нибудь другой разсказывалъ что-нибудь смѣшное; самъ онъ говорилъ самыя смѣшныя вещи безъ малѣйшей улыбки. Онъ очень любилъ шутки, нелѣпыя прозвища, глупости, мистификаціи... Даже въ послѣдніе годы, какъ только ему хоть ненадолго становилось лучше, онъ былъ неистощимъ на нихъ, но какимъ тонкимъ комизмомъ вызывалъ онъ неудержимый смѣхъ! Броситъ два-три слова, лукаво блеснетъ глазомъ поверхъ пенснэ — и достаточно. А его письма! Кто-то, — кажется, Левъ Толстой,—сказалъ, что хорошія письма—самый трудный родъ литературы, а письма Чехова были не только хороши — они были удивительны по своей естественности, точности и красотѣ стиля, и сколько въ нихъ было всегда юмора, при ихъ совершенно спокойной формѣ!

„Милый Иванъ Алексѣевичъ, стало быть, позвольте на Страстной ждать Васъ. Непремѣнно, обязательно пріѣзжайте, у насъ будетъ очень много закусокъ, къ тому же въ Ялтѣ такая теплынь теперь, столько цвѣтовъ! Пріѣзжайте, сдѣлайте такую милость! Жениться

я раздумалъ, не желаю, но все же, если Вамъ покажется скучно, то я, такъ и быть ужъ, пожалуй, женюсь"... (25 марта 1901 года).

Или: „Дорогой Иванъ Алексѣевичъ, завтра я уѣзжаю въ Ялту, куда и прошу написать мнѣ поздравленіе съ законнымъ бракомъ... Желаю Вамъ всего хорошаго-съ, будьте здоровы-съ. Вашъ А. Чеховъ, аутскій мѣщанинъ". (30 іюня 1901 г.).

Но сдержанность Чехова сказывалась и во многомъ другомъ, болѣе важномъ, и тогда уже ясно свидѣтельствовала о рѣдкой силѣ его натуры. Кто, напримѣръ, слышалъ отъ него жалобы, кто знаетъ, какъ страдалъ онъ? А причинъ для страданій было много. Онъ началъ работать среди большихъ матеріальныхъ лишеній, въ семьѣ, терпѣвшей въ пору его молодости прямо-таки нужду, и онъ работалъ на семью мало того, что за гроши, но еще и въ обстановкѣ, способной угасить самое пылкое вдохновеніе: въ маленькой квартиркѣ, среди говора и шума, часто на краешкѣ стола, вокругъ котораго сидѣла не только вся семья, но еще нѣсколько человѣкъ гостей—студентовъ. Онъ постоянно нуждался и потомъ, уже будучи извѣстнымъ, нуждался даже въ послѣдніе годы, будучи больнымъ и знаменитымъ. Но я буквально никогда не слыхалъ отъ него сѣтованій на судьбу, и это вытекало не изъ скрытности его характера и не изъ ограниченности его потребностей: онъ никогда не скрывалъ, что нуждается и нуждался, а что касается ограниченности его потребностей, то кто же не знаетъ, какъ онъ, будучи на рѣдкость благородно-скромнымъ въ своемъ образѣ жизни, въ то же время ненавидѣлъ сѣрую, скудную жизнь?.. Онъ пятнадцать лѣтъ былъ боленъ изнурительной болѣзнью, которая неуклонно вела его къ смерти; но слышалъ ли читатель,— русскій читатель, который слышалъ столько горькихъ писательскихъ воплей,—хоть единый звукъ жалобы отъ Чехова? Больные любятъ свое привиллегированное положеніе: часто самые сильные изъ нихъ

почти съ наслажденіемъ терзаютъ окружающихъ своими капризами, своими непрестанными разговорами о своей болѣзни; но было поистинѣ изумительно то мужество, съ которымъ болѣлъ и умеръ Чеховъ! Даже въ дни его самыхъ тяжелыхъ страданій часто никто и не подозрѣвалъ о нихъ.

— Тебѣ нездоровится, Антоша?—спроситъ его мать или сестра, видя, что онъ весь день сидитъ въ креслѣ съ закрытыми глазами.

— Мнѣ?—спокойно отвѣтитъ онъ, открывая глаза,— такіе ясные и кроткіе безъ пенснэ.— Нѣтъ, ничего. Голова болитъ немного.

И больше ни звука.

Онъ горячо любилъ литературу, и говорить о писателяхъ, о ихъ произведеніяхъ, восхищаться Мопассаномъ, Флоберомъ или Толстымъ, „Казаками“ или „Анной Карениной“,— было для него наслажденіемъ. Особенно часто онъ съ восторгомъ говорилъ именно объ этихъ писателяхъ да еще о „Тамани“ Лермонтова.

— Не могу понять,—говорилъ онъ,—какъ могъ онъ, будучи почти мальчикомъ, сдѣлать это! Вотъ бы написать такую вещь да еще водевиль хорошій, тогда бы и умереть можно!

Но его разговоры о литературѣ были совсѣмъ не похожи на тѣ обычные профессіональные разговоры, которые такъ непріятны своею кружковой узостью, мелочностью своихъ чисто практическихъ и чаще всего — личныхъ интересовъ. Будучи прежде всего литераторомъ, Чеховъ, однако, настолько рѣзко отличался отъ большинства пишущихъ, что къ нему даже не шло слово „литераторъ“, какъ не идетъ оно, напримѣръ, къ Толстому, и не идетъ прежде всего потому, что большинство нашего брата—люди, живущіе только жаждой заработка и повышеній, интересами только своего мірка и своей службы. И поэтому разговоръ о литературѣ Чеховъ заводилъ только тогда, когда зналъ, что его собесѣдникъ любитъ въ литера-

турѣ прежде всего искусство, искусство безкорыстное и свободное.

— Никому не слѣдуетъ читать своихъ вещей до напечатанія,—говорилъ онъ мнѣ нерѣдко.— А главное, никогда не слѣдуетъ слушать ничьихъ совѣтовъ. Ошибся, совралъ—пусть и ошибка будетъ принадлежать только тебѣ. Послѣ тѣхъ высокихъ требованій, которыя поставилъ своимъ мастерствомъ Мопассанъ, трудно работать, но работать все же надо, особенно намъ, русскимъ, и въ работѣ надо быть смѣлымъ. Есть большія собаки и есть маленькія собаки, но маленькія не должны смущаться существованіемъ большихъ: всѣ обязаны лаять — и лаять тѣмъ голосомъ, какой Господь Богъ далъ.

Все, что совершалось въ литературномъ мірѣ, было, конечно, очень близко сердцу Чехова, и много волненій пережилъ онъ среди той лжи, манерности и фокусничества, которыя столь пышно цвѣтутъ теперь въ литературѣ. Но никогда не замѣчалъ я въ его волненіяхъ мелочной раздражительности, и никогда не примѣшивалъ онъ къ нимъ личныхъ чувствъ. Почти про всѣхъ умершихъ писателей говорятъ, что они радовались чужому успѣху, что они были чужды самолюбія, и поэтому, если бы у меня была хоть тѣнь сомнѣнія относительно писательскаго самолюбія Чехова, я совсѣмъ не затронулъ бы вопроса о самолюбіяхъ. Но онъ дѣйствительно радовался отъ всего сердца всякому проявленію талантливости, и не могъ не радоваться уже по одному тому, что слово „бездарность“ было, кажется, наивысшей бранью въ его устахъ. Радовался онъ всегда и чужимъ, конечно, заслуженнымъ, успѣхамъ, а къ своимъ успѣхамъ и неуспѣхамъ относился такъ, какъ можетъ относиться къ нимъ только такой большой человѣкъ, какимъ онъ былъ самъ.

Онъ работалъ въ литературѣ почти 25 лѣтъ, и сколько плоскихъ и грубыхъ упрековъ выслушалъ онъ за это время! Онъ былъ поэтъ, — одинъ изъ самыхъ

искреннѣйшихъ и благороднѣйшихъ русскихъ поэтовъ,— и говорилъ о своихъ идеалахъ всегда языкомъ поэта, а не проповѣдника; изображая жизнь, онъ оставался прежде всего тѣмъ, чѣмъ ему было на роду написано быть—художникомъ: ни тенденціозности, ни подчеркиваній, ни угожденій моменту! А можно ли при этомъ разсчитывать на пониманіе и благосклонность критики въ Россіи, гдѣ большинство критиковъ, особенно за послѣднее время, не имѣютъ ни малѣйшаго отношенія къ искусству? Вѣдь требовали же критики и покупатели картинъ Левитана, чтобы онъ „оживилъ“ пейзажъ... подрисовалъ коровку, гусей или женскую фигурку!.. И, конечно, не сладко было Чехову имѣть такихъ критиковъ, и много горечи они влили въ его душу, и безъ того отравленную русской жизнью. И горечь эта сказывалась, но опять-таки только *сказывалась*.

— Да, Антонъ Павловичъ, вотъ скоро и юбилей вашъ будемъ праздновать!

— Знаю-съ я эти юбилеи. Бранятъ человѣка двадцать пять лѣтъ на всѣ корки, а потомъ дарятъ ему гусиное перо изъ аллюминія и цѣлый день несутъ надъ нимъ, со слезами и поцѣлуями, восторженную ахинею!

И чаще всего на разговоры о его славѣ и о томъ, что о немъ пишутъ, онъ отвѣчалъ именно такъ—двумя-тремя словами или шуткой.

— Читали, Антонъ Павловичъ?—скажешь ему, напримѣръ, увидавъ гдѣ-нибудь статью о немъ.

А онъ только покосится поверхъ пенснэ и, комично вытянувъ лицо, отвѣтитъ своимъ груднымъ басомъ:

— Покорно васъ благодарю! Напишутъ о комъ-нибудь тысячу строкъ, а внизу прибавятъ: „а то вотъ еще есть писатель Чеховъ: нытикъ“.

И только иногда прибавитъ серьезно:

— Когда васъ, милостивый государь, гдѣ-нибудь бранятъ, вы почаще вспоминайте насъ, грѣшныхъ:

насъ, какъ въ бурсѣ, критики драли за малѣйшую провинность. Мнѣ одинъ критикъ пророчилъ, что я умру подъ заборомъ: я представлялся ему молодымъ человѣкомъ, выгнаннымъ изъ гимназіи за пьянство.

Злымъ Чехова я никогда не видалъ; но и раздражался онъ рѣдко, а если и раздражался, то изумительно умѣлъ владѣть собой. Помню, напримѣръ, какъ онъ однажды былъ взволнованъ характеристикой его таланта въ одной очень толстой и очень тупой книгѣ, состоящей изъ портретовъ писателей и замѣтокъ о нихъ, гдѣ говорилось о „равнодушіи“ Чехова къ вопросамъ нравственности и общественности и о его мнимомъ пессимизмѣ. И, однако, его волненіе сказалось только въ двухъ, сурово и задумчиво сказанныхъ, словахъ:

— Форменный идіотъ!

Но и холоднымъ я его не видалъ. Холоденъ онъ бывалъ, по его словамъ, только за работой, къ которой онъ приступалъ всегда уже послѣ того, какъ мысль и образы его будущаго произведенія становились ему совершенно ясны, и которую онъ исполнялъ почти всегда безъ перерывовъ, неукоснительно доводя ее до конца.

— Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холоднымъ, какъ ледъ,—сказалъ онъ однажды.

Но, конечно, это была совсѣмъ особая холодность,— холодность художника, нисколько не противорѣчащая тому, что называется вдохновеніемъ. Ибо много ли среди русскихъ писателей найдется такихъ, у которыхъ душевная чуткость и сила воспріимчивости были бы больше Чеховскихъ? Рѣдкая душевная отзывчивость и пониманіе всего съ малѣйшаго намека чувствовались въ немъ постоянно, но, повторю, онъ удивительно умѣлъ владѣть собою — и въ творчествѣ, и въ жизни.

Чтобы образъ Чехова сталъ ясенъ русскому обществу, нужно, чтобы какой-нибудь большой и разносторонне одаренный человѣкъ написалъ книгу, посвя-

щенную прежде всего творчеству Чехова, этого „несравненнаго“, по выраженію Толстого, художника, такъ остро перестрадавшаго печали нашей жизни, изобразившаго ее съ такой прямотою и съ такою силой говорившаго о томъ, что жизнь должна быть всѣмъ легка и радостна, прекрасна и изящна въ каждомъ своемъ проявленіи. Что до меня, то написать больше того, что написано здѣсь, я пока не могу... хотя бы потому, напримѣръ, что я еще не въ состояніи методически копаться въ тысячѣ мелкихъ, но дорогихъ мнѣ воспоминаній о немъ, и потому, наконецъ, что это было бы непріятно и его семьѣ, столь близкой мнѣ. Вмѣсто всякихъ воспоминаній, мнѣ хотѣлось бы сказать пока одно — это то, что въ жизни онъ былъ именно тѣмъ, чѣмъ былъ и въ творчествѣ,—человѣкомъ рѣдкаго душевнаго благородства: воспитанности и изящества въ самомъ лучшемъ значеніи этихъ словъ, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простотѣ, чуткости и нѣжности при рѣдкой правдивости.

Быть правдивымъ и естественнымъ, оставаясь въ тоже время благороднымъ и плѣнительнымъ, — это значитъ быть необыкновенной по красотѣ, цѣльности и силѣ натурой. И если я такъ часто говорилъ здѣсь о спокойствіи Чехова, то это происходило потому, что его спокойствіе кажется мнѣ свидѣтельствующимъ о силѣ его натуры. Оно, я думаю, не покидало его даже въ дни самаго яркаго расцвѣта его жизнерадостности, и, можетъ быть, именно оно дало ему въ молодости возможность не склониться ни передъ чьимъ вліяніемъ и начать работать такъ безпритязательно и въ то же время такъ смѣло, „безъ всякихъ контрактовъ съ своей совѣстью“ и съ такимъ неподражаемымъ мастерствомъ.

Помните слова стараго профессора въ „Скучной исторіи“?

„Я не скажу, чтобы французскія книжки были и умны, и талантливы, и благородны; но онѣ не такъ

скучны, какъ русскія, и въ нихъ не рѣдкость найти главный элементъ творчества — чувство личной свободы...“

И вотъ этимъ-то чувствомъ личной свободы и отличался Чеховъ, не терпѣвшій, чтобы и другихъ лишали ея, и становившійся даже рѣзкимъ и прямолинейнымъ, когда видѣлъ, что на нее посягали.

— Хорошо-то, хорошо, — сказалъ однажды одинъ беллетристъ про другого въ присутствіи Чехова. — Только все про любовь, да про любовь!

— Про любовь или не про любовь — это безразлично, — отвѣтилъ Чеховъ, нахмурившись. — Главное, чтобы было талантливо.

Какъ извѣстно, эта „свобода“ не прошла ему даромъ, но Чеховъ былъ не изъ тѣхъ, у которыхъ двѣ души: одна для себя, другая—для публики. Успѣхъ, который онъ имѣлъ, очень долго, до смѣшного, не соотвѣтствовалъ его заслугамъ... Но сдѣлалъ ли онъ за всю жизнь хоть малѣйшее усиліе для того, чтобы увеличить свою популярность? Онъ буквально съ болью и отвращеніемъ смотрѣлъ на всѣ тѣ пріемы, какіе нерѣдко пускаются теперь въ ходъ для пріобрѣтенія успѣха.

— А вы все думаете, что они — писатели! Они — извозчики!—говорилъ онъ съ горечью.

И его нежеланіе выставлять себя на видъ доходило порой до крайностей.

„Публикуетъ „Скорпіонъ“ о своей книгѣ неряшливо, — писалъ онъ мнѣ послѣ выхода первой книги „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“. — Выставляетъ меня первымъ, и я, прочитавъ это объявленіе въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, далъ себѣ клятву больше уже никогда не вѣдаться ни со скорпіонами, ни съ крокодилами, ни съ ужами“.

Это было зимою 1900 г., когда Чеховъ, заинтересовавшись кое-какими черточками въ дѣятельности только-что организованнаго тогда книгоиздательства „Скорпіонъ“, далъ въ альманахъ этого книгоиздатель-

ства одинъ изъ своихъ юношескихъ разсказовъ: „Въ морѣ“. Впослѣдствіи онъ не разъ раскаивался въ этомъ.

— Нѣтъ, все это новое московское искусство — вздоръ,—говорилъ онъ.— Помню, въ Таганрогѣ я видѣлъ вывѣску: „Заведеніе искустевныхъ фрухтовыхъ водъ“. Вотъ и это тоже — заведеніе искусственныхъ фруктовыхъ водъ!

А его сдержанность проистекала, мнѣ кажется, изъ аристократизма его духа, между прочимъ, и изъ его стремленія быть точнымъ въ каждомъ своемъ словѣ. Придетъ время, когда поймутъ, какъ слѣдуетъ, и то, что это былъ не только „несравненный“ художникъ, не только изумительный мастеръ слова, но и несравненный поэтъ... Только когда придетъ это время? Еще не скоро поймутъ во всей полнотѣ его тонкую и цѣломудренную поэзію, которой почти всегда обвѣяна горькая правда жизни, изображенная имъ. Онъ даже отъ близкихъ людей таилъ поэзію своей души, какъ таилъ и свою доброту, и свою нѣжность... А онъ былъ очень нѣженъ. И особенно за послѣдніе дни своей жизни...

„Здравствуйте, милый Иванъ Алексѣевичъ!—писалъ онъ мнѣ прошлой зимой въ Ниццу.—Съ Новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ! Письмо Ваше получилъ, спасибо. У насъ въ Москвѣ все благополучно и скучно, новаго (кромѣ новаго года) ничего нѣтъ и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдетъ—неизвѣстно. Очень возможно, что въ февралѣ я пріѣду въ Ниццу, остановлюсь у Н. И. Юрасова, отъ котораго недавно получилъ письмо... Поклонитесь отъ меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите въ свое полное удовольствіе, утѣшайтесь, не думайте о болѣзняхъ и пишите почаще Вашимъ друзьямъ... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурыхъ сѣверныхъ компатріотовъ, страдающихъ несвареніемъ и дурнымъ расположеніемъ духа. Цѣлую Васъ и обнимаю. Вашъ А. Чеховъ. (8 янв. 1904 г.).

„Поклонитесь отъ меня милому теплому солнцу,

тихому морю...“ Такія слова я слышалъ отъ него рѣдко. Очень часто я скорѣе чувствовалъ, что онъ долженъ произнести ихъ, и это были минуты, въ которыя мнѣ становилось почему-то очень больно на сердцѣ. Помню, напримѣръ, одну ночь ранней весной въ Крыму. Было уже поздно; вдругъ меня зовутъ къ телефону. Подхожу и слышу басъ Чехова:

— Миллсдарь, возьмите хорошаго извозчика и заѣзжайте за мной. Поѣдемте кататься.

— Кататься? Ночью? — удивился я.—Что съ вами, Антонъ Павловичъ?

— Влюбленъ.

— Это хорошо, но уже десятый часъ... И потомъ— вы можете простудиться...

— Молодой человѣкъ, не разсуждайте-съ!

Я съ удовольствіемъ повиновался и черезъ десять минутъ былъ уже въ Ауткѣ. Въ домѣ, гдѣ зимою Чеховъ жилъ только съ матерью, была, какъ всегда, мертвая тишина и темнота,—только изъ комнаты Евгеніи Яковлевны пробивался сквозь дверную щель свѣтъ, да тускло горѣли двѣ свѣчечки въ кабинетѣ, теряясь въ полумракѣ. И, какъ всегда, у меня сжалось сердце при видѣ этого тихаго кабинета, гдѣ для Чехова протекло столько одинокихъ зимнихъ вечеровъ, полныхъ, можетъ быть, горькихъ думъ о судьбѣ, такъ богато одарившей его, развернувшей передъ его глазами всю прелесть міра и такъ зло посмѣявшейся надъ нимъ.

— Какая ночь! — сказалъ онъ мнѣ съ необычной даже для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встрѣчая меня па порогѣ кабинета.—А дома— такая скука! Только и радости, что затрещитъ телефонъ, да Софья Павловна спроситъ, что я дѣлаю, а я отвѣчу: мышей ловлю. Поѣдемте, въ Оріанду. Простужусь—наплевать!

Ночь была, правда, удивительная, — теплая, тихая, съ яснымъ мѣсяцемъ, съ легкими бѣлыми облаками, съ рѣдкими лучистыми звѣздами въ голубомъ, глубокомъ небѣ. Экипажъ мягко катился по бѣлому шоссе,

и, обвѣянные тишиною ночи, мы молчали, глядя на блестѣвшую тусклымъ золотомъ равнину моря... А потомъ пошелъ лѣсъ съ легкими узорами тѣней, похожими на паутину, еще голый, но уже по весеннему нѣжный, красивый и задумчивый... Потомъ зачернѣли толпы гигантовъ-кипарисовъ, величаво возносившихся къ лучистымъ звѣздамъ. И когда мы оставили экипажъ и тихо пошли подъ ними, мимо голубовато-блѣдныхъ въ лунномъ свѣтѣ развалинъ дворца, Чеховъ внезапно сказалъ мнѣ:

— Знаете, сколько лѣтъ еще будутъ читать меня? Семь.

— Почему семь?—спросилъ я.

— Ну, семь съ половиной.

— Вы поэтъ, Антонъ Павловичъ,—сказалъ я.—А то, въ чемъ есть поэзія, живетъ долго и чѣмъ дальше, тѣмъ все сильнѣе... какъ хорошее вино.

Онъ ничего не отвѣтилъ, но когда мы сѣли гдѣ-то на скамью, съ которой снова открылся видъ на блестящее въ мѣсячномъ свѣтѣ море, онъ скинулъ пенснэ и, поглядѣвъ на меня добрыми и усталыми глазами, сказалъ:

— Поэтами, милостивый государь, считаются только тѣ, которые употребляютъ такія слова, какъ „серебристая даль“, „аккордъ“ или „на бой, на бой, въ борьбу со тьмой!“

— Вы грустный сегодня, Антонъ Павловичъ—сказалъ я, глядя на его простое, доброе и прекрасное лицо, слегка блѣдное отъ луннаго свѣта.

Опустивъ глаза, онъ задумчиво копалъ концомъ палки мелкіе каменики, но когда я сказалъ, что онъ грустенъ, онъ шутливо покосился на меня.

— Это вы грустны,—отвѣтилъ онъ.—И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потомъ серьезно прибавилъ:

— Читать же меня будутъ все-таки только семь лѣтъ, а жить мнѣ осталось и того меньше: шесть. Не говорите только объ этомъ одесскимъ репортерамъ...

На этотъ разъ онъ ошибся: онъ прожилъ гораздо меньше...

Умеръ онъ спокойно, безъ страданій, среди тишины и красоты лѣтняго разсвѣта, который онъ всегда такъ любилъ. И когда умеръ, „необыкновенно довольное, почти счастливое выраженіе появилось на его сразу помолодѣвшемъ лицѣ“... Смерть его не была для меня полной неожиданностью, а тому, что его будутъ читать „семь лѣтъ“, конечно, смѣшно вѣрить. И все-таки мысль, что онъ, котораго я такъ ясно вижу сидящимъ рядомъ со мною на скамьѣ въ эту незабвенную ночь въ Оріандѣ, лежитъ теперь въ землѣ, гдѣ-то здѣсь близко, въ могилѣ на кладбищѣ Ново-Дѣвичьяго монастыря, — кажется мнѣ невыразимо нелѣпой, дикой, ошеломляющей...

А. П. Чеховъ.

Отрывки изъ воспоминаній.

М. Горькій.

А. П. Чеховъ.

Отрывки изъ воспоминаній.

Однажды онъ позвалъ меня къ себѣ въ деревню Кучукъ-Кой, гдѣ у него былъ маленькій клочекъ земли и бѣлый двухъ-этажный домикъ. Тамъ, показывая мнѣ свое „имѣніе“, онъ оживленно заговорилъ:

— Если бы у меня было много денегъ, я устроилъ бы здѣсь санаторій для больныхъ сельскихъ учителей. Знаете, я выстроилъ бы этакое большое, свѣтлое зданіе—очень свѣтлое, съ большими окнами и съ высокими потолками. У меня была бы прекрасная библіотека, разные музыкальные инструменты, пчельникъ, огородъ, фруктовый садъ... можно бы читать лекціи по агрономіи, метеорологіи... учителю нужно все знать, батенька, все!

Онъ вдругъ замолчалъ, кашлянулъ, посмотрѣлъ на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда такъ неотразимо влекла къ нему и возбуждала особенное острое вниманіе къ его словамъ.

— Вамъ скучно слушать мои фантазіи? А я люблю говорить объ этомъ... Если бы вы знали, какъ необходимъ русской деревнѣ хорошій, умный, образованный учитель! У насъ въ Россіи его необходимо поставить въ какія-то особенныя условія, и это нужно сдѣлать скорѣе... если мы понимаемъ, что безъ широкаго образованія народа государство развалится, какъ домъ, сложенный изъ плохо обожженнаго кирпича! Учитель долженъ быть артистъ, художникъ, горячо влюбленный въ свое дѣло, а у насъ—это чернорабочій, плохо образованный человѣкъ, который идетъ учить ребятъ въ деревню съ такой же охотой, съ какой пошелъ бы въ ссылку. Онъ голоденъ, забитъ, запуганъ возможностью потерять кусокъ хлѣба... А нужно, чтобы онъ былъ первымъ человѣкомъ въ деревнѣ, чтобы мужики признавали въ немъ силу, достойную вниманія и уваженія, чтобы никто не смѣлъ орать на него... унижать его личность, какъ это дѣлаютъ у насъ всѣ: урядникъ, богатый лавочникъ, попъ, становой, попечитель школы, старшина... и тотъ чиновникъ, который носитъ званіе инспектора школъ, но заботится не о лучшей постановкѣ образованія, а только о тщательномъ исполненіи циркуляровъ округа... Нелѣпо же платить гроши человѣку, который призванъ воспитывать народъ,—вы понимаете?—воспитывать народъ!— Нельзя же допускать, чтобъ этотъ человѣкъ ходилъ въ лохмотьяхъ, дрожалъ отъ холода въ сырыхъ дырявыхъ школахъ, угоралъ, простужался, наживалъ себѣ къ тридцати годамъ ларингитъ, ревматизмъ, туберкулезъ... вѣдь это же стыдно намъ! Нашъ учитель восемь, девять мѣсяцевъ въ году живетъ какъ отшельникъ, ему не съ кѣмъ сказать слова, онъ тупѣетъ въ одиночествѣ, безъ книгъ, безъ развлеченій... а со-

зоветъ онъ къ себѣ товарищей—его обвинятъ въ неблагонадежности... глупое слово, которымъ хитрые люди пугаютъ дураковъ!.. Отвратительно все это... точно какое-то издѣвательство надъ человѣкомъ, который дѣлаетъ большую, страшно важную работу... Знаете,—когда я вижу учителя,—мнѣ дѣлается неловко передъ нимъ и за его робость, и за то, что онъ плохо одѣтъ... мнѣ кажется, что въ этомъ убожествѣ учителя и самъ я чѣмъ-то виноватъ... серьезно!

Онъ замолчалъ, задумался и, махнувъ рукой, тихо сказалъ:

— Такая нелѣпая, неуклюжая страна — эта наша Россія.

Тѣнь глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкіе лучи морщинъ окружили ихъ, углубляя его взглядъ. Онъ посмотрѣлъ вокругъ и пошутилъ надъ собой.

— Видите,—цѣлую передовую статью изъ либеральной газеты я вамъ закатилъ... Пойдемте,—чаю дамъ... за то, что вы такой терпѣливый...

Это часто бывало у него: — говоритъ такъ тепло, серьезно, искренно и вдругъ усмѣхнется надъ собой и надъ рѣчью своей. И въ этой мягкой, грустной усмѣшкѣ чувствовался тонкій скептицизмъ человѣка, знающаго цѣну словъ, цѣну мечтаній. И еще въ этой усмѣшкѣ сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли въ домъ. Тогда былъ ясный, жаркій день; играя яркими лучами солнца, шумѣли волны; подъ горой ласково повизгивала, чѣмъ-то довольная, собака. Чеховъ взялъ меня подъ руку и, покашливая, медленно проговорилъ:

— Это стыдно и грустно, а вѣрно: есть множество людей, которые завидуютъ собакамъ...

И тотчасъ же, засмѣявшись, добавилъ:

— Я сегодня говорю все дряхлыя слова... значитъ,—старѣю!

Мнѣ очень часто приходилось слышать отъ него:

— Тутъ, знаете, одинъ учитель пріѣхалъ... больной, женатъ... у васъ нѣтъ возможности помочь ему? Пока я его уже устроилъ...

Или:

— Слушайте, Горькій,—тутъ одинъ учитель хочетъ познакомиться съ вами... Онъ не выходитъ, боленъ... Вы бы сходили къ нему... хорошо?

Или:

— Вотъ, учительницы просятъ прислать книгъ...

Иногда я заставалъ у него этого „учителя“: обыкновенно онъ, красный отъ сознанія своей неловкости, сидѣлъ на краешкѣ стула и въ потѣ лица подбиралъ слова, стараясь говорить глаже и „образованнѣе“, или, съ развязностью болѣзненно застѣнчиваго человѣка, весь сосредоточивался на желаніи не показаться глупымъ въ глазахъ писателя и осыпалъ Антона Павловича градомъ вопросовъ, которые едва ли приходили ему въ голову до этого момента.

Антонъ Павловичъ внимательно слушалъ невеселую, нескладную рѣчь; въ его грустныхъ глазахъ поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на вискахъ, и вотъ своимъ глубокимъ, мягкимъ, точно матовымъ голосомъ онъ самъ начиналъ говорить простыя, ясныя, близкія къ жизни слова, — слова, которыя какъ-то сразу упрощали собесѣдника: онъ переставалъ стараться быть умникомъ, отчего сразу становился и умнѣе, и интереснѣе...

Помню, одинъ учитель—высокій, худой, съ желтымъ, голоднымъ лицомъ и длиннымъ горбатымъ носомъ, меланхолически загнутымъ къ подбородку, сидѣлъ противъ Антона Павловича и, неподвижно глядя въ лицо ему черными глазами, угрюмо басомъ говорилъ:

— Изъ подобныхъ впечатлѣній бытія на протяженіи педагогическаго сезона образуется такой психическій конгломератъ, который абсолютно подавляетъ всякую возможность объективнаго отношенія къ окружающему

міру. Конечно, міръ есть ничто иное, какъ только наше представленіе о немъ...

Тутъ онъ пустился въ область философіи и зашагалъ по ней, напоминая пьянаго на льду.

— А скажите,—не громко и ласково спросилъ Чеховъ,—кто это въ вашемъ уѣздѣ бьетъ ребятъ?

Учитель вскочилъ со стула и возмущенно замахалъ руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркалъ.

— Вы не волнуйтесь,—продолжалъ Антонъ Павловичъ, успокоительно улыбаясь,—развѣ я говорю провасъ? Но я помню—читалъ въ газетахъ—кто-то бьетъ... именно въ вашемъ уѣздѣ...

Учитель сѣлъ, вытеръ вспотѣвшее лицо и, облегченно вздохнувъ, глухимъ басомъ заговорилъ:

— Вѣрно... Былъ одинъ случай... Это—Макаровъ... Знаете — не удивительно! Дико, но—объяснимо. Женатъ онъ... четверо дѣтей... жена—больная... самъ—въ чахоткѣ... жалованье—20 р... а школа—погребъ и учителю—одна комната... При такихъ условіяхъ—ангела Божія поколотишь безо всякой вины... а ученики—они далеко не ангелы... ужъ повѣрьте!

И этотъ человѣкъ, только что безжалостно поражавшій Чехова своимъ запасомъ умныхъ словъ, вдругъ, зловѣще покачивая горбатымъ носомъ, заговорилъ простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко, какъ огнемъ, освѣщая проклятую, грозную правду той жизни, которой живетъ русская деревня...

Прощаясь съ хозяиномъ, учитель взялъ обѣими руками его небольшую сухую руку съ тонкими пальцами и, потрясая ее, сказалъ:

— Шелъ я къ вамъ, будто къ начальству, — съ робостью и дрожью... надулся, какъ индѣйскій пѣтухъ... хотѣлъ показать вамъ, что, молъ, и я не лыкомъ шитъ... а ухожу вотъ — какъ отъ хорошаго, близкаго человѣка, который все понимаетъ... Великое это дѣло—все понимать! Спасибо вамъ! Иду... Уношу съ собой

хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливѣе... и ближе душой къ нашему брату, чѣмъ всѣ эти мизеры, среди которыхъ мы живемъ... Прощайте... Никогда я не забуду васъ...

Носъ у него вздрогнулъ, губы сложились въ добрую улыбку и онъ неожиданно добавилъ:

— А собственно говоря, и подлецы—тоже несчастные люди... чортъ ихъ возьми!

Когда онъ ушелъ, Антонъ Павловичъ посмотрѣлъ вслѣдъ ему, усмѣхнулся и сказалъ:

— Хорошій парень... Не долго проучитъ...

— Почему?

— Затравятъ... прогонятъ...

Подумавъ, онъ добавилъ негромко и мягко:

— Въ Россіи честный человѣкъ — что-то въ родѣ трубочиста, которымъ няньки пугаютъ маленькихъ дѣтей...

Мнѣ кажется, что всякій человѣкъ при Антонѣ Павловичѣ невольно ощущалъ въ себѣ желаніе быть проще, правдивѣе, быть болѣе самимъ собой, и я не разъ наблюдалъ, какъ люди сбрасывали съ себя пестрые наряды книжныхъ фразъ, модныхъ словъ и всѣ прочія дешевенькія штучки, которыми русскій человѣкъ, желая изобразить европейца, украшаетъ себя, какъ дикарь раковинами и рыбьими зубами. Ант. Павл. не любилъ рыбьи зубы и пѣтушиныя перья; все пестрое, гремящее и чужое, надѣтое человѣкомъ на себя для „пущей важности“, вызывало въ немъ смущеніе, и я замѣчалъ, что каждый разъ, когда онъ видѣлъ передъ собой разряженнаго человѣка, имъ овладѣвало желаніе освободить его отъ всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собесѣдника. Всю жизнь А. Чеховъ прожилъ на средства своей души, всегда онъ былъ самимъ собой, онъ былъ внутренно свободенъ и никогда не считался съ тѣмъ, чего одни ожидали отъ Ант. Чехова,

другіе—болѣе грубые—требовали. Онъ не любилъ разговоровъ на „высокія“ темы,—разговоровъ, которыми этотъ милый русскій человѣкъ такъ усердно потѣшаетъ себя, забывая, что смѣшно, но совсѣмъ не остроумно разсуждать о бархатныхъ костюмахъ въ будущемъ, не имѣя въ настоящемъ даже приличныхъ штановъ.

Красиво-простой, онъ любилъ все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды, я помню, его посѣтили три пышно одѣтыя дамы; наполнивъ его комнату шумомъ шелковыхъ юбокъ и запахомъ крѣпкихъ духовъ, онѣ чинно усѣлись противъ хозяина, притворились, будто бы ихъ очень интересуетъ политика и—начали „ставить вопросы“.

— Антонъ Павловичъ! А какъ вы думаете, чѣмъ кончится война?

Ант. Павл. покашлялъ, подумалъ и мягко, тономъ серьезнымъ, ласковымъ отвѣтилъ:

— Вѣроятно,—миромъ ..

— Ну, да... конечно!—Но кто же побѣдитъ? Греки или турки?..

— Мнѣ кажется,—побѣдятъ тѣ, которые сильнѣе...

— А кто, по вашему, сильнѣе?—на перебой спрашивали дамы.

— Тѣ, которые лучше питаются и болѣе образованы...

— Ахъ, какъ это остроумно!—воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — грековъ или турокъ?—спросила другая.

Ант. Павл. ласково посмотрѣлъ на нее и отвѣтилъ съ кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю—мармеладъ... а вы—любите?

— Очень!—оживленно воскликнула дама.

— Абрикосовскій!—солидно подтвердила другая.

А третья полузакрыла глаза и вкусно добавила:

— Онъ такой ароматный!

И всѣ три оживленно заговорили, обнаруживая по

вопросу о мармеладѣ прекрасную эрудицію и тонкое знаніе предмета. Было очевидно—онѣ очень довольны тѣмъ, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которыхъ онѣ до этой поры и не думали.

Уходя, онѣ весело пообѣщали Ант. Павловичу:

— Мы пришлемъ вамъ мармеладу!

— Вы славно бесѣдовали!—замѣтилъ я, когда онѣ ушли.

Ант. Павловичъ тихо разсмѣялся и сказалъ:

— Нужно, чтобъ каждый человѣкъ говорилъ своимъ языкомъ...

Другой разъ я засталъ у него молодого, красивенькаго товарища прокурора. Онъ стоялъ предъ Чеховымъ и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорилъ:

— Разсказомъ „Злоумышленникъ“ вы, Антонъ Павловичъ, ставите предо мной крайне сложный вопросъ. Если я признаю въ Денисѣ Григорьевѣ наличность злой воли, дѣйствовавшей сознательно, я долженъ, безъ оговорокъ, упечь Дениса въ тюрьму, какъ этого требуютъ интересы общества. Но онъ дикарь, онъ не сознавалъ преступности дѣянія... мнѣ его жалко! Если же я отнесусь къ нему, какъ къ субъекту, дѣйствовавшему безъ разумѣнія, и поддамся чувству состраданія,—чѣмъ я гарантирую общество, что Денисъ вновь не отвинтитъ гайки на рельсахъ и не устроитъ крушенія? Вотъ вопросъ! Какъ же быть?

Онъ замолчалъ, откинулъ корпусъ назадъ и уставился въ лицо Антону Павловичу испытующимъ взглядомъ. Мундирчикъ на немъ былъ новенькій и пуговицы на груди блестѣли такъ же самоувѣренно и тупо, какъ глазки на чистенькомъ личикѣ юнаго ревнителя правосудія.

— Если бъ я былъ судьей,—серьезно сказалъ Антонъ Павловичъ,—я бы оправдалъ Дениса...

— На какомъ основаніи?

— Я сказалъ бы ему: ты, Денисъ, еще не дозрѣлъ до типа сознательнаго преступника, ступай—и дозрѣй!

Юристъ засмѣялся, но тотчасъ же вновь сталъ торжественно серьезенъ и продолжалъ:

— Нѣтъ, уважаемый Ант. Павл.,—вопросъ, поставленный вами, можетъ быть разрѣшенъ только въ интересахъ общества, жизнь и собственность котораго я призванъ охранять. Денисъ—дикарь, да, но онъ—преступникъ,—вотъ истина!

— Вамъ нравится граммофонъ? — вдругъ ласково спросилъ Антонъ Павловичъ.

— О, да! Очень! Изумительное изобрѣтеніе!—живо отозвался юноша.

— А я терпѣть не могу граммофоновъ! — грустно сознался Антонъ Павловичъ.

— Почему?

— Да они же говорятъ и поютъ, ничего не чувствуя... И все у нихъ каррикатурно выходитъ... мертво... А фотографіею вы не занимаетесь?

Оказалось, что юристъ страстный поклонникъ фотографіи; онъ тотчасъ же съ увлеченіемъ заговорилъ о ней, совершенно не интересуясь граммофономъ, несмотря на свое сходство съ этимъ „изумительнымъ изобрѣтеніемъ“, тонко и вѣрно подмѣченное Чеховымъ. Снова я видѣлъ, какъ изъ мундира выглянулъ живой и довольно забавный человѣчекъ, который пока еще чувствовалъ себя въ жизни, какъ щенокъ на охотѣ.

Проводивъ юношу, Антонъ Павловичъ угрюмо сказалъ:

— Вотъ этакіе прыщи на... сидѣньѣ правосудія— распоряжаются судьбой людей...

И, помолчавъ, добавилъ:

— Прокуроры, должно быть, очень любятъ удить рыбу... особенно—ершей!

Онъ обладалъ искусствомъ всюду находитъ и оттѣнять пошлость, — искусствомъ, которое доступно только человѣку высокихъ требованій къ жизни, которое создается лишь горячимъ желаніемъ видѣть людей

простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила въ немъ жестокаго и остраго судью.

Кто-то разсказывалъ при немъ, что издатель популярнаго журнала, человѣкъ, постоянно разсуждающій о необходимости любви и милосердія къ людямъ— совершенно неосновательно оскорбилъ кондуктора желѣзной дороги и что вообще этотъ человѣкъ крайне грубо обращается съ людьми, зависимыми отъ него.

— Ну, еще бы,—сказалъ Антонъ Павловичъ, хмуро усмѣхаясь, — вѣдь онъ же аристократъ... образованный... онъ же въ семинаріи учился! Отецъ его въ лаптяхъ ходилъ, а онъ носитъ лаковыя ботинки...

И въ тонѣ этихъ словъ было что-то, что сразу сдѣлало „аристократа" ничтожнымъ и смѣшнымъ.

— Очень талантливый человѣкъ! — говорилъ онъ объ одномъ журналистѣ.—Пишетъ всегда такъ благородно, гуманно... лимонадно... жену свою ругаетъ при людяхъ дурой... комната для прислуги у него сырая, и горничныя постоянно наживаютъ ревматизмъ...

— Вамъ, Антонъ Павловичъ, нравится NN?

— Да... очень... Пріятный человѣкъ... — покашливая, соглашается Антонъ Павловичъ. — Все знаетъ... читаетъ много... У меня три книги зачиталъ... Разсѣянный онъ... сегодня скажетъ вамъ, что вы чудесный человѣкъ, а завтра кому-нибудь сообщитъ, что вы прислугу обсчитываете, и у мужа вашей любовницы шелковые носки украли... черные, съ синими полосками.

Кто-то при немъ жаловался на скуку и тяжесть „серьезныхъ" отдѣловъ въ толстыхъ журналахъ.

— А вы не читайте этихъ статей,—убѣжденно посовѣтовалъ Антонъ Павловичъ. — Это же дружеская литература... литература пріятелей... Ее сочиняютъ гг. Красновъ, Черновъ и Бѣловъ. Одинъ напишетъ статью, другой возразитъ, а третій примиряетъ противорѣчія первыхъ. Похоже, какъ будто они въ винтъ съ болваномъ играютъ... А зачѣмъ все это нужно читателю,—никто изъ нихъ себя не спрашиваетъ.

Однажды пришла къ нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одѣтая и начала говорить „подъ Чехова“:

— Скучно жить, Антонъ Павловичъ! Все такъ сѣро: люди, небо, море, даже цвѣты кажутся мнѣ сѣрыми... И нѣтъ желаній... душа въ тоскѣ... Точно какая-то болѣзнь...

— Это — болѣзнь! — убѣжденно сказалъ Антонъ Павловичъ.—Это болѣзнь... По-латыни она называется **morbus pritvorialis**... Дама, къ ея счастью, видимо, не знала по-латыни, а можетъ быть скрыла, что знаетъ...

— Критики похожи на слѣпней, которые мѣшаютъ лошади пахать землю,—говорилъ онъ, усмѣхаясь своей умной усмѣшкой. — Лошадь работаетъ, всѣ мускулы натянуты, какъ струны на контрабасѣ... а тутъ на крупѣ садится слѣпень и щекочетъ, и жужжитъ... нужно встряхивать кожей и махать хвостомъ. О чемъ онъ жужжитъ? Едва ли ему понятно это... просто — характеръ у него безпокойный и заявить о себѣ хочется,—молъ, тоже на землѣ живу!.. Вотъ видите,— могу даже жужжать.., обо всемъ могу жужжать! Я двадцать пять лѣтъ читаю критики на мои разсказы, а ни одного цѣннаго указанія не помню, ни одного добраго совѣта не слышалъ... Только однажды Скабичевскій произвелъ на меня впечатлѣніе... онъ написалъ, что я умру въ пьяномъ видѣ подъ заборомъ...

Въ его сѣрыхъ, грустныхъ глазахъ почти всегда мягко искрилась тонкая насмѣшка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; въ такія минуты его гибкій, задушевный голосъ звучалъ тверже, и тогда — мнѣ казалось, что этотъ скромный, мягкій человѣкъ, если онъ найдетъ нужнымъ, можетъ встать противъ враждебной ему силы крѣпко, твердо и не уступитъ ей.

Порою же, казалось мнѣ, — что въ его отношеніи къ людямъ было чувство какой-то безнадежности, близкое къ холодному, тихому отчаянію.

— Странное существо—русскій человѣкъ! — гово-

рилъ онъ однажды.—Въ немъ, какъ въ рѣшетѣ, ничего не задерживается... Въ юности онъ жадно наполняетъ душу всѣмъ, что подъ руку попало, а послѣ тридцати лѣтъ въ немъ остается какой-то сѣрый хламъ... Чтобы хорошо жить, по-человѣчески — надо же работать! Работать съ любовью, съ вѣрой... А у насъ не умѣютъ этого... Архитекторъ, выстроивъ два-три приличныхъ дома, садится играть въ карты, играетъ всю жизнь, или же торчитъ за кулисами театра. Докторъ, если онъ имѣетъ практику, перестаетъ слѣдить за наукой, ничего, кромѣ „Новостей терапіи", не читаетъ и въ сорокъ лѣтъ серьезно убѣжденъ, что всѣ болѣзни — простуднаго происхожденія. Я не встрѣчалъ ни одного чиновника, который хоть немножко понималъ бы значеніе своей работы: обыкновенно онъ сидитъ въ столицѣ или губернскомъ городѣ, сочиняетъ бумаги и посылаетъ ихъ въ Зміевъ и Сморгонь для исполненія. А кого эти бумаги лишатъ свободы движенія въ Зміевѣ и Сморгони,—объ этомъ чиновникъ думаетъ такъ же мало, какъ атеистъ о мученіяхъ ада. Сдѣлавъ себѣ имя удачной защитой, адвокатъ уже перестаетъ заботиться о защитѣ правды, а защищаетъ только право собственности, играетъ на скачкахъ, ѣстъ устрицъ и изображаетъ собой тонкаго знатока всѣхъ искусствъ. Актеръ, сыгравши сносно двѣ-три роли, уже не учитъ больше ролей, а надѣваетъ цилиндръ и думаетъ, что онъ геній. Вся Россія—страна какихъ-то жадныхъ и лѣнивыхъ людей: они ужасно много и красиво ѣдятъ, пьютъ, любятъ спать днемъ и во снѣ храпятъ. Женятся они для порядка въ домѣ, а любовницъ заводятъ для престижа въ обществѣ. Психологія у нихъ—собачья: бьютъ ихъ—они тихонько повизгиваютъ и прячутся по своимъ конурамъ, ласкаютъ—они ложатся на спину, лапки кверху и виляютъ хвостиками.

Тоскливое и холодное презрѣніе звучало въ этихъ словахъ. Но, презирая, онъ сожалѣлъ, и когда, бывало, при немъ ругнешь кого-нибудь, Антонъ Павловичъ сейчасъ же вступится:

— Ну, зачѣмъ вы? Онъ же старикъ... ему же семьдесятъ лѣтъ...

Или:

— Онъ же вѣдь еще молодой... это же по глупости...

И когда онъ говорилъ такъ,—я не видѣлъ на его лицѣ брезгливости...

Въ юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружаетъ человѣка, своимъ сѣрымъ туманомъ пропитываетъ мозгъ и кровь его, какъ ядъ и угаръ, и человѣкъ становится похожъ на старую вывѣску, изъѣденную ржавчиной: какъ будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антонъ Чеховъ уже въ первыхъ разсказахъ своихъ умѣлъ открыть въ тускломъ морѣ пошлости ея трагически-мрачныя шутки; стоитъ только внимательно прочитать его „юмористическіе“ разсказы, чтобы убѣдиться, какъ много за смѣшными словами и положеніями — жестокаго и противнаго скорбно видѣлъ и стыдливо скрывалъ авторъ.

Онъ былъ какъ-то цѣломудренно скроменъ, онъ не позволялъ себѣ громко и открыто сказать людямъ:

— Да будьте же вы... порядочнѣе!—тщетно надѣясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для нихъ быть порядочнѣе. Ненавидя все пошлое и грязное, онъ описывалъ мерзости жизни благороднымъ языкомъ поэта, съ мягкой усмѣшкой юмориста, и за прекрасной внѣшностью его разсказовъ мало замѣтенъ полный горькаго упрека ихъ внутренній смыслъ.

Почтеннѣйшая публика, читая „Дочь Альбіона“, смѣется и едва ли видитъ въ этомъ разсказѣ гнуснѣйшее издѣвательство сытаго барина надъ человѣкомъ одинокимъ, всему и всѣмъ чужимъ. И въ каждомъ изъ юмористическихъ разсказовъ Антона Павловича я

слышу тихій, глубокій вздохъ чистаго, истинно-человѣческаго сердца, безнадежный вздохъ состраданія къ людямъ, которые не умѣютъ уважать свое человѣческое достоинство и, безъ сопротивленія подчиняясь грубой силѣ, живутъ, какъ рыбы, и ни во что не вѣрятъ, кромѣ необходимости каждый день хлебать возможно болѣе жирныя щи, и ничего не чувствуютъ, кромѣ страха, какъ бы кто-нибудь сильный и наглый не побилъ ихъ.

Никто не понималъ такъ ясно и тонко, какъ Антонъ Чеховъ, трагизмъ мелочей жизни, никто до него не умѣлъ такъ безпощадно правдиво нарисовать людямъ позорную и тоскливую картину ихъ жизни въ тускломъ хаосѣ мѣщанской обыденщины.

Его врагомъ была пошлость; онъ всю жизнь боролся съ ней, ее онъ осмѣивалъ и ее изображалъ безстрастнымъ, острымъ перомъ, умѣя найти плѣсень пошлости даже тамъ, гдѣ съ перваго взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — съ блескомъ... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положивъ его трупъ — трупъ поэта — въ вагонъ „для перевозки свѣжихъ устрицъ“.

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мнѣ именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости надъ уставшимъ врагомъ, а безчисленныя „воспоминанія“ уличныхъ газетъ — лицемѣрной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыханіе все той же пошлости, втайнѣ довольной смертью врага своего.

Читая разсказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно въ грустный день поздней осени, когда воздухъ такъ прозраченъ и въ немъ рѣзко очерчены голыя деревья, тѣсные дома, сѣренькіе люди... Все такъ странно—одиноко, неподвижно и безсильно. Углубленныя синія дали—пустынны и, сливаясь съ блѣднымъ небомъ, дышатъ тоскливымъ холодомъ на землю, по-

крытую мерзлой грязью... Умъ автора, какъ осеннее солнце, съ жестокой ясностью освѣщаетъ избитыя дороги, кривыя улицы, тѣсные и грязные дома, въ которыхъ задыхаются отъ скуки и лѣни маленькіе жалкіе люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вотъ тревожно, какъ сѣрая мышь, шмыгаетъ „Душечка",—милая, кроткая женщина, которая такъ рабски, такъ много умѣетъ любить. Ее можно ударить по щекѣ и она даже застонать громко не посмѣетъ, кроткая раба... Рядомъ съ ней грустно стоитъ Ольга изъ „Трехъ сестеръ": она тоже много любитъ и безропотно подчиняется капризамъ развратной и пошлой жены своего лѣнтяя брата, на ея глазахъ ломается жизнь ея сестеръ, а она плачетъ и никому ничѣмъ не можетъ помочь, и ни одного живого, сильнаго слова протеста противъ пошлости нѣтъ въ ея груди.

Вотъ слезоточивая Раневская и другіе бывшіе хозяева „Вишневаго сада",—эгоистичные, какъ дѣти, и дряблые, какъ старики. Они опоздали во-время умереть и ноютъ, ничего не видя вокругъ себя, ничего не понимая,—паразиты, лишенные силы снова присосаться къ жизни. Дрянненькій студентъ Трофимовъ красно говоритъ о необходимости работать и — бездѣльничаетъ, отъ скуки развлекаясь глупымъ издѣвательствомъ надъ Варей, работающей не покладая рукъ—для благополучія бездѣльниковъ.

Вершининъ мечтаетъ о томъ, какъ хороша будетъ жизнь черезъ триста лѣтъ, и живетъ, не замѣчая, что около него все разлагается, что на его глазахъ—Соленый отъ скуки и по глупости готовъ убить жалкаго барона Тузенбаха.

Проходитъ передъ глазами безчисленная вереница рабовъ и рабынь своей любви, своей глупости и лѣни, своей жадности къ благамъ земли; идутъ рабы темнаго страха предъ жизнью, идутъ въ смутной тревогѣ и наполняютъ жизнь безсвязными рѣчами о будущемъ, чувствуя, что въ настоящемъ—нѣтъ имъ мѣста.

Иногда въ ихъ сѣрой массѣ раздается выстрѣлъ,— это Ивановъ или Треплевъ догадались, что имъ нужно сдѣлать, и—умерли.

Многіе изъ нихъ красиво мечтаютъ о томъ, какъ хороша будетъ жизнь черезъ двѣсти лѣтъ, и никому не приходитъ въ голову простой вопросъ: да кто же сдѣлаетъ ее хорошей, если мы будемъ только мечтать?

Мимо всей этой скучной, сѣрой толпы безсильныхъ людей прошелъ большой, умный, ко всему внимательный человѣкъ, посмотрѣлъ онъ на этихъ скучныхъ жителей своей родины и съ грустной улыбкой, тономъ мягкаго, но глубокаго упрека, съ безнадежной тоской на лицѣ и въ груди, красивымъ искреннимъ голосомъ сказалъ:

— Скверно вы живете, господа!

Стыдно такъ жить!

Памяти Чехова.

А. Куприпъ.

Памяти Чехова.

Онъ между нами жилъ...

Бывало, въ раннемъ дѣтствѣ, вернешься послѣ долгихъ лѣтнихъ каникулъ въ пансіонъ. Все сѣро, казарменно, пахнетъ свѣжей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день—еще крѣпишься кое-какъ, хотя сердце,—нѣтъ, нѣтъ,—и сожмется внезапно отъ тоски. Занимаютъ встрѣчи, поражаютъ перемѣны въ лицахъ, оглушаютъ шумъ и движеніе.

Но, когда настанетъ вечеръ, и возня въ полутемной спальнѣ уляжется,—о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяніе овладѣваютъ маленькой душой. Гры-

зешь подушку, подавляя рыданія, шепчешь милыя имена и плачешь, плачешь жаркими слезами и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вотъ тогда-то понимаешь впервые весь потрясающій ужасъ двухъ неумолимыхъ вещей: невозвратимости прошлаго и чувства одиночества. Кажется, что сейчасъ же съ радостью отдалъ бы всю остальную жизнь, перенесъ бы всяческія мученія за одинъ только день того свѣтлаго, прекраснаго существованія, которое никогда не повторится. Кажется, ловилъ бы каждое милое, заботливое слово и заключалъ его навсегда въ памяти, впивалъ бы въ душу медленно и жадно, капля по каплѣ, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, въ суетѣ, и потому что время представлялось неисчерпаемымъ,— ты не воспользовался каждымъ часомъ, каждымъ мгновеніемъ, промелькнувшимъ напрасно.

Дѣтскія скорби жгучи, но онѣ растаютъ во снѣ, и исчезнутъ съ завтрашнимъ солнцемъ. Мы, взрослые, не чувствуемъ ихъ такъ страстно, но помнимъ дольше и скорбимъ глубже. Вскорѣ послѣ похоронъ Чехова, возвращаясь съ панихиды, бывшей на кладбищѣ, одинъ большой писатель сказалъ простыя, но полныя значенія слова:

— Вотъ, похоронили мы его, и уже проходитъ безнадежная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней нашихъ останется въ насъ ровное, тупое, печальное сознаніе, что Чехова нѣтъ?

И вотъ теперь, когда его нѣтъ, особенно мучительно чувствуешь, какъ драгоцѣнно было каждое его слово, улыбка, движеніе, взглядъ, въ которыхъ свѣтилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалѣешь, что не всегда былъ внимателенъ къ тѣмъ особеннымъ мелочамъ, которыя иногда сильнѣе и интимнѣе говорятъ о внутреннемъ человѣкѣ, чѣмъ крупныя дѣла. Упрекаешь себя въ томъ, что изъ-за суеты жизни не успѣлъ запомнить, записать много интерес-

наго, характернаго, важнаго. И въ то же время знаешь, что эти чувства раздѣляютъ съ тобою всѣ тѣ, кто былъ близокъ къ нему, кто истинно любилъ его, какъ человѣка несравненнаго душевнаго изящества и красоты, кто съ вѣчной признательностью будетъ чтить его память, какъ память одного изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ писателей.

Къ любви, къ нѣжной и тонкой печали этихъ людей я обращаю настоящія строки.

I.

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городомъ, глубоко подъ бѣлой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строилъ, но она была, пожалуй, самымъ оригинальнымъ зданіемъ въ Ялтѣ. Вся бѣлая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная внѣ какого-нибудь опредѣленнаго архитектурнаго стиля, съ вышкой въ видѣ башни, съ неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и съ открытой террасой вверху, съ разбросанными—то широкими, то узкими окнами, она походила бы на зданія въ стилѣ moderne, если бы въ ея планѣ не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкусъ. Дача стояла въ углу сада, окруженная цвѣтникомъ. Къ саду, со стороны, параллельной шоссе, примыкало, отдѣленное низкой стѣнкой, старое татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилахъ.

Цвѣтничокъ былъ маленькій, далеко не пышный, а фруктовый садъ еще очень молодой. Росли въ немъ груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. Въ послѣдніе годы садъ уже началъ приносить коекакіе плоды, доставляя Антону Павловичу много заботъ и трогательнаго, какого-то дѣтскаго удовольствія. Когда наступало время сбора миндальныхъ орѣховъ, то ихъ снимали и въ чеховскомъ саду. Лежали они

обыкновенно маленькой горкой въ гостинной на подоконникѣ, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать ихъ, хотя ихъ и предлагали.

А. П. не любилъ и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишкомъ мало защищена отъ пыли, летящей сверху, съ аутскаго шоссе, что садъ плохо снабженъ водою. Не любя вообще Крыма, а въ особенности Ялты, онъ съ особенной, ревнивой любовью относился къ своему саду. Многіе видѣли, какъ онъ иногда по утрамъ, сидя на корточкахъ, заботливо обмазывалъ сѣрой стволы розъ, или выдергивалъ сорныя травы изъ клумбъ. А какое бывало торжество, когда среди лѣтней засухи, наконецъ, шелъ дождь, наполнявшій запасныя глиняныя цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось въ этой хлопотливой любви, а другое, болѣе мощное и мудрое сознаніе. Какъ часто говорилъ онъ, глядя на свой садъ прищуренными глазами:

— Послушайте, при мнѣ здѣсь посажено каждое дерево и, конечно, мнѣ это дорого. Но и не это важно. Вѣдь здѣсь до меня былъ пустырь и нелѣпые овраги, всѣ въ камняхъ и въ чертополохѣ. А я вотъ пришелъ и сдѣлалъ изъ этой дичи культурное, красивое мѣсто. Знаете ли,—прибавлялъ онъ вдругъ съ серьезнымъ лицомъ, тономъ глубокой вѣры,— знаете ли, черезъ триста, четыреста лѣтъ вся земля обратится въ цвѣтущій садъ. И жизнь будетъ тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красотѣ грядущей жизни, такъ ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всѣхъ его послѣднихъ произведеніяхъ, была и въ жизни одной изъ самыхъ его задушевныхъ, наиболѣе лелѣемыхъ мыслей. Какъ часто, должно быть, думалъ онъ о будущемъ счастіи человѣчества, когда, по утрамъ, одинъ, молчаливо подрѣзывалъ свои розы или внимательно осматривалъ раненый вѣтромъ молодой побѣгъ. И сколько было въ этой мысли кроткаго, мудраго и покорнаго самозабвенія!

Нѣтъ, это не была заочная жажда существованія, идущая отъ ненасытимаго человѣческаго сердца и цѣпляющаяся за жизнь, это не было—ни жадное любопытство къ тому, что будетъ послѣ меня, ни завистливая грусть къ далекимъ поколѣніямъ. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомѣрно страдающей отъ пошлости, грубости, скуки, праздности, насилія, дикости — отъ всего ужаса и темноты современныхъ будней. И потому-то, подъ конецъ его жизни, когда пришла къ нему огромная слава и сравнительная обезпеченность, и преданная любовь къ нему всего, что было въ русскомъ обществѣ умнаго, талантливаго и честнаго,— онъ не замкнулся въ недостижимости холоднаго величія, не впалъ въ пророческое учительство, не ушелъ въ ядовитую и мелочную ревность къ чужой извѣстности. Нѣтъ, вся сумма его громаднаго и тяжелаго житейскаго опыта, всѣ его огорченія, скорби, радости и разочарованія — выразились въ этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечтѣ о грядущемъ, близкомъ, хотя и чужомъ счастіи:

— Какъ хороша будетъ жизнь черезъ триста лѣтъ!

И потому-то онъ съ одинаковой любовью ухаживалъ за цвѣтами, точно видя въ нихъ символъ будущей красоты, и слѣдилъ за новыми путями, пролагаемыми человѣческимъ умомъ и знаніемъ. Онъ съ удовольствіемъ глядѣлъ на новыя зданія оригинальной постройки и на большіе морскіе пароходы, живо интересовался всякимъ послѣднимъ изобрѣтеніемъ въ области техники и не скучалъ въ обществѣ спеціалистовъ. Онъ съ твердымъ убѣжденіемъ говорилъ о томъ, что преступленія въ родѣ убійства, воровства и прелюбодѣянія становятся все рѣже, почти исчезаютъ въ настоящемъ интеллигентномъ обществѣ, въ средѣ учителей, докторовъ, писателей. Онъ вѣрилъ въ то, что грядущая, истинная культура облагородитъ человѣчество.

Разсказывая о чеховскомъ садѣ, я позабылъ упо-

мянуть, что посрединѣ его стояли качели и деревянная скамейка. И то и другое осталось отъ „Дяди Вани“, съ которымъ Художественный театръ пріѣзжалъ въ Ялту, пріѣзжалъ, кажется, съ исключительной цѣлью показать больному тогда А. П—чу постановку его пьесы. Обоими предметами Чеховъ чрезвычайно дорожилъ и, показывая ихъ, всегда съ признательностью вспоминалъ о миломъ вниманіи къ нему Художественнаго театра.

II.

Во дворѣ жили: ручной журавль и двѣ собаки. Надо замѣтить, что Антонъ Павловичъ очень любилъ всѣхъ животныхъ, за исключеніемъ, впрочемъ, кошекъ, къ которымъ онъ питалъ непреодолимое отвращеніе. Собаки же пользовались его особымъ расположеніемъ. О покойной Каштанкѣ, о мелеховскихъ таксахъ Бромѣ и Хинѣ онъ вспоминалъ такъ тепло и въ такихъ выраженіяхъ, какъ вспоминаютъ объ умершихъ друзьяхъ. „Славный народъ—собаки!“—говорилъ онъ иногда съ добродушной улыбкой.

Журавль былъ важная, степенная птица. Къ людямъ онъ относился вообще недовѣрчиво, но велъ тѣсную дружбу съ Арсеніемъ, слугой Антона Павловича. За Арсеніемъ онъ бѣгалъ всюду, по двору, и по саду, причемъ уморительно подпрыгивалъ на ходу и махалъ растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танецъ, всегда смѣшившій Антона Павловича.

Одну собаку звали „Тузикъ“, а другую—„Каштанъ“, въ честь прежней, мелеховской „Каштанки“, носившей это имя. Ничѣмъ, кромѣ глупости и лѣности, этотъ Каштанъ, впрочемъ, не отличался. По внѣшнему виду онъ былъ толстъ, гладокъ и неуклюжъ, свѣтло-шеколаднаго цвѣта, съ безсмысленными желтыми глазами. Вслѣдъ за Тузикомъ онъ лаялъ на чужихъ, но стоило его поманить и почмокать ему, какъ онъ тот-

часъ же переворачивался на спину и начиналъ угодливо извиваться по землѣ. Антонъ Павловичъ легонько отстранялъ его палкой, когда онъ лѣзъ съ нѣжностями, и говорилъ съ притворной суровостью:

— Уйди, уйди, дуракъ... Не приставай.

И прибавлялъ, обращаясь къ собесѣднику, съ досадой, но со смѣющимися глазами:

— Не хотите ли, подарю пса? Вы не повѣрите, до чего онъ глупъ.

Но однажды случилось, что Каштанъ, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попалъ подъ колеса фаэтона, который раздавилъ ему ногу. Бѣдный песъ прибѣжалъ домой на трехъ лапахъ, съ ужасающимъ воемъ. Задняя нога была вся исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антонъ Павловичъ тотчасъ же промылъ рану теплой водой съ сулемой, присыпалъ ее іодоформомъ и перевязалъ марлевымъ бинтомъ. И надо было видѣть, съ какой нѣжностью, какъ ловко и осторожно прикасались его большіе милые пальцы къ ободранной ногѣ собаки, и съ какой сострадательной укоризной бранилъ онъ и уговаривалъ визжавшаго Каштана:

— Ахъ ты, глупый, глупый... Ну, какъ тебя угораздило?.. Да тише ты... легче будетъ... дурачокъ...

Приходится повторить избитое мѣсто, но несомнѣнно, что животныя и дѣти инстинктивно тянулись къ Чехову. Иногда приходила къ А. П. одна больная барышня, приводившая съ собою дѣвочку лѣтъ 3—4-хъ, сиротку, которую она взяла на воспитаніе. Между крошечнымъ ребенкомъ и пожилымъ, грустнымъ и больнымъ человѣкомъ, знаменитымъ писателемъ, установилась какая-то особенная, серьезная и довѣрчивая дружба. Подолгу сидѣли они рядомъ на скамейкѣ, на верандѣ; А. П. внимательно и сосредоточенно слушалъ, а она безъ умолку лепетала ему свои дѣтскія наивныя слова и путалась рученками въ его бородѣ.

Съ большой и сердечной любовью относились къ Чехову и всѣ люди попроще, съ которыми онъ стал-

кивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны—и не только съ любовью, но и съ тонкой чуткостью, съ бережностью и съ пониманіемъ. Не могу не разсказать здѣсь одного случая, который передаю со словъ очевидца, маленькаго служащаго въ Р. О. П. и Т., человѣка положительнаго, немногословнаго и, главное, совершенно непосредственнаго въ воспріятіи и передачѣ своихъ впечатлѣній.

Это было осенью. Чеховъ, возвращавшійся изъ Москвы, только-что пріѣхалъ на пароходѣ изъ Севастополя въ Ялту и еще не успѣлъ сойти съ палубы. Былъ промежутокъ той сумятицы, криковъ и безтолочи, которые всегда подымаются вслѣдъ за тѣмъ, какъ опустятъ сходни. Въ это-то суматошное время, татаринъ-носильщикъ, всегда услуживавшій А. П—чу и увидѣвшій его еще издали, раньше другихъ успѣлъ взобраться на пароходъ, разыскалъ вещи Чехова и уже готовился нести ихъ внизъ, какъ на него внезапно налетѣлъ бравый и свирѣпый помощникъ капитана. Этотъ человѣкъ не ограничился одними непристойными ругательствами, но въ порывѣ начальственнаго гнѣва ударилъ бѣднаго татарина по лицу.

— И вотъ тогда произошла сверхъестественная сцена,—разсказывалъ мой знакомый.—Татаринъ бросаетъ вещи на палубу, бьетъ себя въ грудь кулаками и, вытаращивъ глаза, лѣзетъ на помощника. И въ то же время кричитъ на всю пристань:

— Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударилъ? Ты—вотъ кого ударилъ!

И показываетъ пальцемъ на Чехова. А Чеховъ, знаете ли, подходитъ, блѣдный весь, губы трясутся. Подходитъ къ помощнику и говоритъ ему тихо такъ, раздѣльно, но съ необычайнымъ выраженіемъ: „Какъ вамъ не стыдно!“ Повѣрите ли, ей-Богу, будь я на мѣстѣ этого мореплавателя,—лучше бы мнѣ двадцать разъ въ морду дали, чѣмъ услышать это: „какъ вамъ не стыдно“. И на что ужъ морякъ былъ толстокожъ, но и того проняло; заметался—заметался, забормоталъ

что-то и вдругъ испарился. И ужъ больше его на палубѣ не видѣли.

III.

Кабинетъ въ ялтинскомъ домѣ у А. П. былъ небольшой, шаговъ 10 въ длину и 6 въ ширину, скромный, но дышавшій какой-то своеобразной прелестью. Прямо противъ входной двери—большое квадратное окно въ рамѣ изъ цвѣтныхъ желтыхъ стеколъ. Съ лѣвой стороны отъ входа, около окна, перпендикулярно къ нему—письменный столъ, а за нимъ маленькая ниша, освѣщенная сверху, изъ-подъ потолка, крошечнымъ окошечкомъ; въ нишѣ—турецкій диванъ. Съ правой стороны, посрединѣ стѣны — коричневый кафельный каминъ; наверху, въ его облицовкѣ, оставлено небольшое незадѣланное плиткой мѣстечко, и въ немъ небрежно, но мило написано красками вечернее поле съ уходящими вдаль стогами—это работа Левитана. Дальше, по той же сторонѣ, въ самомъ углу — дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича,—свѣтлая, веселая комната, сіяющая какой-то дѣвической чистотой, бѣлизной и невинностью. Стѣны кабинета — въ темныхъ съ золотомъ обояхъ, а около письменнаго стола виситъ печатный плакатъ: „просятъ не курить". Сейчасъ же возлѣ входной двери, направо — шкафъ съ книгами. На каминѣ нѣсколько бездѣлушекъ и между ними прекрасно сдѣланная модель парусной шкуны. Много хорошенькихъ вещицъ изъ кости и изъ дерева и на письменномъ столѣ; почему-то преобладаютъ фигуры слоновъ. На стѣнахъ портреты — Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдѣльномъ маленькомъ столикѣ, на вѣерообразной подставкѣ, множество фотографій артистовъ и писателей. По обоимъ бокамъ окна спускаются прямыя, тяжелыя, темныя занавѣски, на полу большой, восточнаго рисунка, коверъ: эта драпировка смягчаетъ всѣ контуры и еще больше темнитъ кабинетъ, но благодаря ей, ровнѣе и пріятнѣе ложится свѣтъ изъ окна на письменный

столъ. Пахнетъ тонкими духами, до которыхъ А. П. всегда былъ охотникъ. Изъ окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко къ морю, и самое море, окруженное амфитеатромъ домовъ. Слѣва же, справа и сзади дома громоздятся полукольцомъ горы. По вечерамъ, когда въ гористыхъ окрестностяхъ Ялты зажигаются огни, и когда во мракѣ эти огни и звѣзды надъ ними такъ близко сливаются, что не отличаешь ихъ другъ отъ друга,— тогда вся окружающая мѣстность очень напоминаетъ иные уголки Тифлиса...

Всегда бываетъ такъ: познакомишься съ человѣкомъ, изучишь его наружность, походку, голосъ, манеры, и все-таки всегда можешь вызвать въ памяти его лицо такимъ, какимъ его видѣлъ въ первый разъ, совсѣмъ другимъ, отличнымъ отъ настоящаго. Такъ и у меня, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ знакомства съ А. П. сохранился въ памяти тотъ Чеховъ, какимъ я его увидѣлъ впервые, въ общемъ залѣ Лондонской гостинницы въ Одессѣ. Показался онъ мнѣ тогда почти высокаго роста, худощавымъ, но широкимъ въ костяхъ, нѣсколько суровымъ на видъ. Слѣдовъ болѣзни въ немъ тогда не было замѣтно, если не считать его походки,— слабой и точно на немного согнутыхъ колѣняхъ. Если бы меня спросили тогда, на кого онъ похожъ съ перваго взгляда, я бы сказалъ: на земскаго врача или на учителя провинціальной гимназіи. Но было въ немъ также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное — въ лицѣ, въ говорѣ и въ оборотахъ рѣчи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность въ манерахъ. Именно такое первое впечатлѣніе выносили многіе, и я въ томъ числѣ. Но, спустя нѣсколько часовъ, я увидѣлъ совсѣмъ другого Чехова,— именно того Чехова, лицо котораго никогда не могла уловить фотографія и которое, къ сожалѣнію, не понялъ и не прочувствовалъ ни одинъ изъ писавшихъ съ него художниковъ. Я увидѣлъ самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человѣческое

лицо, какое только мнѣ приходилось встрѣчать въ моей жизни.

Многіе впослѣдствіи говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это—ошибка, но ошибка до страннаго общая всѣмъ, знавшимъ его. Глаза у него были темные, почти каріе, причемъ раёкъ праваго глаза былъ окрашенъ значительно сильнѣе, что придавало взгляду А. П., при нѣкоторыхъ поворотахъ головы, выраженіе разсѣянности. Верхнія вѣки нѣсколько нависали надъ глазами, что такъ часто наблюдается у художниковъ, у охотниковъ, у моряковъ—словомъ, у людей съ сосредоточеннымъ зрѣніемъ. Благодаря pince-nez и манерѣ глядѣть сквозь низъ его стеколъ, нѣсколько приподнявъ кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровымъ. Но надо было видѣть Чехова въ иныя минуты (увы, столь рѣдкія въ послѣдніе годы), когда имъ овладѣвало веселье, и когда онъ, быстрымъ движеніемъ руки сбрасывая pince-nez и покачиваясь взадъ и впередъ на креслѣ, разражался милымъ, искреннимъ и глубокимъ смѣхомъ. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, съ добрыми морщинками у наружныхъ угловъ, и весь онъ тогда напоминалъ тотъ юношескій извѣстный портретъ, гдѣ онъ изображенъ почти безбородымъ, съ улыбающимся, близорукимъ и наивнымъ взглядомъ нѣсколько исподлобья. И вотъ удивительно,— каждый разъ, когда я гляжу на этотъ снимокъ, я не могу отдѣлаться отъ мысли, что у Чехова глаза были дѣйствительно голубые.

Обращалъ вниманіе въ наружности А. П. его лобъ—широкій, бѣлый и чистый, прекрасной формы: лишь въ самое послѣднее время на немъ легли между бровями, у переносья, двѣ вертикальныя задумчивыя складки. Уши у Чехова были большія, некрасивой формы, но другія такія умныя, интеллигентныя уши я видѣлъ еще лишь у одного человѣка—у Толстого.

Прошлымъ лѣтомъ, пользуясь добрымъ настроеніемъ духа у Антона Павловича, я сдѣлалъ съ него нѣсколько

снимковъ ручнымъ фотографическимъ аппаратомъ. Но, къ несчастью, лучшіе изъ нихъ и чрезвычайно похожіе вышли совсѣмъ блѣдными, благодаря слабому освѣщенію кабинета. Про другіе же, болѣе удачные, самъ А. П. сказалъ, посмотрѣвъ на нихъ:

— Ну, знаете ли, это не я, а какой-то французъ.

Помнится мнѣ теперь очень живо пожатіе его большой, сухой и горячей руки,— пожатіе всегда очень крѣпкое, мужественное, но въ то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себѣ и его почеркъ: тонкій, безъ нажимовъ, ужасно мелкій, съ перваго взгляда—небрежный и некрасивый, но, если къ нему приглядѣться, очень ясный, нѣжный и характерный, какъ и все, что въ немъ было.

IV.

Вставалъ А. П., по крайней мѣрѣ, лѣтомъ, довольно рано. Никто даже изъ самыхъ близкихъ людей не видалъ его небрежно одѣтымъ; также не любилъ онъ разныхъ домашнихъ вольностей, въ родѣ туфель, халатовъ и тужурокъ. Въ восемь-девять часовъ его уже можно было застать ходящимъ по кабинету, или за письменнымъ столомъ, какъ всегда, безукоризненно, изящно и скромно одѣтаго.

Повидимому, самое лучшее время для работы приходилось у него отъ утра до обѣда, хотя пишущимъ его, кажется, никому не удавалось заставать: въ этомъ отношеніи онъ былъ необыкновенно скрытенъ и стыдливъ. Зато нерѣдко въ хорошія теплыя утра его можно было видѣть на скамейкѣ, за домомъ, въ самомъ укромномъ мѣстѣ дачи, тамъ, гдѣ вдоль бѣлыхъ стѣнъ стояли кадки съ олеандрами. Тамъ сидѣлъ онъ иногда по часу и болѣе, одинъ, не двигаясь, сложивъ руки на колѣняхъ и глядя впередъ, на море.

Около полудня и позднѣе домъ его начиналъ наполняться посѣтителями. Въ это же время на желѣзныхъ рѣшеткахъ, отдѣляющихъ усадьбу отъ шоссе,

висли цѣлыми часами любопытствующія дѣвицы въ бѣлыхъ, войлочныхъ широкополыхъ шляпахъ. Самые разнообразные люди пріѣзжали къ Чехову: ученые, литераторы, земскіе дѣятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессора, свѣтскіе люди, сенаторы, священники, актеры — и Богъ знаетъ, кто еще. Часто обращались къ нему за совѣтомъ, за протекціей, еще чаще съ просьбой о просмотрѣ рукописи; являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующіе; были и такіе, которые посѣщали его съ единственною цѣлью направить этотъ большой, но заблудшій талантъ въ надлежащую, идейную сторону. Приходила просящая бѣднота—и настоящая, и мнимая. Эти никогда не встрѣчали отказа. Я не считаю себя въ правѣ упоминать о частныхъ случаяхъ, но твердо и навѣрно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношенію къ учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его болѣе чѣмъ скромныя средства.

Бывали у него люди всѣхъ слоевъ, всѣхъ лагерей и оттѣнковъ. Несмотря на утомительность такого постояннаго человѣческаго круговорота, тутъ было нѣчто и привлекательное для Чехова. Онъ изъ первыхъ рукъ, изъ первоисточниковъ, знакомился со всѣмъ, что дѣлалось въ данную минуту въ Россіи. О, какъ ошибались тѣ, которые въ печати и въ своемъ воображеніи называли его человѣкомъ равнодушнымъ къ общественнымъ интересамъ, къ мятущейся жизни интеллигенціи, къ жгучимъ вопросамъ современности. Онъ за всѣмъ слѣдилъ пристально и вдумчиво; онъ волновался, мучился и болѣлъ всѣмъ тѣмъ, чѣмъ болѣли лучшіе русскіе люди. Надо было видѣть, какъ въ извѣстныя черныя времена, когда при немъ говорили о нелѣпыхъ, темныхъ и злыхъ явленіяхъ нашей общественной жизни, — надо было видѣть, какъ сурово и печально сдвигались его густыя брови, какимъ страдальческимъ дѣлалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь свѣтилась въ его прекрасныхъ глазахъ.

Здѣсь умѣстно вспомнить объ одномъ фактѣ, который, по моему, прекрасно освѣщаетъ отношеніе Чехова къ нелѣпостямъ русской дѣйствительности. У многихъ въ памяти его отказъ отъ званія почетнаго академика, извѣстны и мотивы этого отказа, но далеко не всѣ знаютъ его письмо въ Академію по этому поводу—прекрасное письмо, написанное съ простымъ и благороднымъ достоинствомъ, со сдержаннымъ негодованіемъ великой души. Академія, ревнующая о красотѣ и чистотѣ русскаго языка, должна была бы отмѣтить это письмо, какъ лучшій образецъ эпистолярной формы. Привожу его текстъ:

„Въ декабрѣ прошлаго года я получилъ извѣщеніе объ избраніи А. М. Пѣшкова въ почетные академики, и я не замедлилъ повидаться съ А. М. Пѣшковымъ, который тогда находился въ Крыму, первый принесъ ему извѣстіе объ избраніи и первый поздравилъ его. Затѣмъ, немного погодя, въ газетахъ было напечатано, что въ виду привлеченія Пѣшкова къ дознанію по 1035 ст., выборы признаются недѣйствительными, причемъ было точно указано, что это извѣщеніе исходитъ изъ Академіи наукъ, а такъ какъ я состою почетнымъ академикомъ, то это извѣщеніе частью исходило и отъ меня. Я поздравлялъ сердечно и я же признавалъ выборы недѣйствительными—такое противорѣчіе не укладывалось въ моемъ сознаніи, примирить съ нимъ свою совѣсть я не могъ. Знакомство съ 1035 ст. ничего не объяснило мнѣ. И послѣ долгаго размышленія я могъ придти только къ одному рѣшенію, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложеніи съ меня званія почетнаго академика“.

А. Чеховъ.

Странно—до чего не понимали Чехова. Онъ—этотъ „неисправимый пессимистъ“, какъ его опредѣляли,—никогда не уставалъ надѣяться на свѣтлое будущее, никогда не переставалъ вѣрить въ незримую, но упорную и плодотворную работу лучшихъ силъ нашей ро-

дины. Кто изъ знавшихъ его близко не помнитъ этой обычной, излюбленной его фразы, которую онъ такъ часто, иногда даже совсѣмъ не въ тактъ разговору, произносилъ вдругъ своимъ увѣреннымъ тономъ:

— Послушайте, а знаете что? Вѣдь въ Россіи черезъ десять лѣтъ будетъ конституція.

Да, даже и здѣсь звучалъ у него тотъ же мотивъ о радостномъ будущемъ, ждущемъ человѣчество, который отозвался во всѣхъ его произведеніяхъ послѣднихъ лѣтъ.

Надо сказать правду: далеко не всѣ посѣтители щадили время и нервы А. П—ча, а иные такъ просто были безжалостны. Помню я одинъ случай, поразительный, почти анекдотически невѣроятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо интеллигентнаго какъ будто бы званія.

Было хорошее, не жаркое, безвѣтренное лѣтнее утро. А. П. чувствовалъ себя на рѣдкость въ легкомъ, живомъ и безпечномъ настроеніи. И вотъ появляется, точно съ неба, толстый господинъ (оказавшійся впослѣдствіи архитекторомъ), посылаетъ Чехову свою визитную карточку и проситъ свиданія. А. П. принимаетъ его. Архитекторъ входитъ, знакомится и, не обращая никакого вниманія на плакатъ „просятъ не курить“, не спрашивая позволенія, закуриваетъ вонючую, огромную нѣмецкую сигару. Затѣмъ, отвѣсивъ, какъ неизбѣжный долгъ, нѣсколько булыжныхъ комплиментовъ хозяину, онъ приступаетъ къ приведшему его дѣлу.

Дѣло же заключается въ томъ, что сынокъ архитектора, гимназистъ III класса, бѣжалъ на-дняхъ по улицѣ и, по свойственной гимназистамъ привычкѣ, хватался на бѣгу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. Въ концѣ-концовъ, онъ напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапалъ ладонь. „Такъ вотъ, видите ли, глубокоуважаемый А. П.,—заключилъ свой разсказъ архитекторъ,— я бы очень просилъ васъ напечатать объ этомъ въ

корреспонденціи. Хорошо, что Коля ободралъ только ладонь, но вѣдь это — случай, онъ могъ бы задѣть какую-нибудь важную артерію — и что бы тогда вышло?“—„Да все это очень прискорбно,—отвѣтилъ Чеховъ,— но, къ сожалѣнію, я ничѣмъ не могу вамъ помочь. Я не пишу, да никогда и не писалъ корреспонденцій. Я пишу только разсказы“.—„Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше! Вставьте это въ разсказъ,— обрадовался архитекторъ.— Пропечатайте этого домовладѣльца съ полной фамиліей. Можете даже и мою фамилію проставить, я и на это согласенъ... Или нѣтъ... все-таки лучше мою фамилію не цѣликомъ, а просто поставьте: господинъ С. Такъ, пожалуйста... А то вѣдь у насъ только и осталось теперь два настоящихъ либеральныхъ писателя — вы и г. NN.“ (и тутъ архитекторъ назвалъ имя одного извѣстнаго литературнаго закройщика).

Я не сумѣлъ передать и сотой доли тѣхъ ужасающихъ пошлостей, которыя наговорилъ оскорбленный въ родительскихъ чувствахъ архитекторъ, потому что за время своего визита онъ успѣлъ докурить сигару до конца и потомъ долго приходилось провѣтривать кабинетъ отъ ея зловоннаго дыма. Но, когда онъ, наконецъ, удалился, А. П. вышелъ въ садъ совершенно разстроенный, съ красными пятнами на щекахъ. Голосъ у него дрожалъ, когда онъ обратился съ упрекомъ къ своей сестрѣ Маріи Павловнѣ и къ сидѣвшему съ ней на скамейкѣ знакомому:

— Господа, неужели вы не могли избавить меня отъ этого человѣка? Прислали бы сказать, что меня зовутъ куда-нибудь. Онъ меня измучилъ!

Помню также—и это, каюсь, моя вина,—какъ пріѣхалъ къ нему выразить свое читательское одобреніе нѣкій самоувѣренный штатскій генералъ, который, вѣроятно, желая доставить Чехову удовольствіе, началъ, широко разставивъ колѣни и упершись въ нихъ кулаками вывернутыхъ рукъ, всячески поносить одного молодого писателя, громадная извѣстность котораго

тогда только еще начинала рости. И Чеховъ тотчасъ же сжался, ушелъ въ себя и все время сидѣлъ съ опущенными глазами, съ холоднымъ лицомъ, не проронивъ ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который онъ бросилъ, при прощаніи, на знакомаго, приведшаго генерала, можно было видѣть, какъ много огорченія принесъ ему этотъ визитъ.

Также стыдливо и холодно относился онъ и къ похваламъ, которыя ему расточали. Бывало, уйдетъ въ нишу, на диванъ, рѣсницы у него дрогнутъ и медленно опустятся и уже не поднимаются больше, а лицо сдѣлается неподвижнымъ и сумрачнымъ. Иногда, если эти неумѣренные восторги исходили отъ болѣе близкаго ему человѣка, онъ старался обратить разговоръ въ шутку, свернуть его на другое направленіе. Вдругъ скажетъ, ни съ того, ни съ сего, съ легкимъ смѣшкомъ:

— Ужасно люблю читать, что обо мнѣ одесскіе репортеры пишутъ.

— Почему такъ?

— Смѣшно очень. Все врутъ. Ко мнѣ прошлой весной явился одинъ изъ нихъ въ гостинницу. Проситъ интервью. А у меня какъ разъ времени не было. Я и говорю: „извините, я теперь занятъ. Да, впрочемъ, пишите, что вздумается. Мнѣ все равно“. Ну, ужъ онъ и написалъ. Меня даже въ жаръ бросило.

А однажды онъ съ самымъ серьезнымъ лицомъ сказалъ:

— Что вы думаете: меня вѣдь въ Ялтѣ каждый извозчикъ знаетъ. Такъ и говорятъ: „а! Чеховъ? Это, который читатель? Знаю“. Почему-то называютъ меня читателемъ. Можетъ быть, они думаютъ, что я по покойникамъ читаю? Вотъ вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чѣмъ я занимаюсь...

V.

Въ часъ дня у Чехова обѣдали внизу, въ прохладной и свѣтлой столовой, и почти всегда за столомъ

бывалъ кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянію этой простой, милой, ласковой семьи. Тутъ чувствовалась постоянная нѣжная заботливость и любовь, но не отягощенная ни однимъ пышнымъ или громкимъ словомъ,— удивительная деликатность, чуткость и вниманіе, но никогда не выходящія изъ рамокъ обыкновенныхъ, какъ будто умышленно-будничныхъ отношеній. И, кромѣ того, всегда замѣчалась истинно чеховская боязнь всего надутаго, приподнятаго, неискренняго и пошлаго. Было въ этой семьѣ очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который сказалъ, что онъ влюбленъ во всѣхъ Чеховыхъ.

Антонъ Павловичъ, какъ всегда его помню, ѣлъ чрезвычайно мало и не любилъ сидѣть за столомъ, а все, бывало, ходилъ отъ окна къ двери и обратно. Часто послѣ обѣда, оставшись въ столовой съ кѣмъ-нибудь одинъ на одинъ, Евгенія Яковлевна (мать А. П.) говорила тихонько, съ безпокойной тоской въ голосѣ:

— А Антоша опять ничего не ѣлъ за обѣдомъ.

Онъ былъ очень гостепріименъ, любилъ, когда у него оставались обѣдать, и умѣлъ угощать на свой особенный ладъ, просто и радушно. Бывало, скажетъ кому-нибудь, остановившись у него за стуломъ:

— Послушайте, выпейте водки. Я, когда былъ молодой и здоровый, любилъ. Собираешь цѣлое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а передъ обѣдомъ выпьешь рюмки двѣ, или три. Чудесно!..

Послѣ обѣда онъ пилъ чай наверху, на открытой террасѣ, или у себя въ кабинетѣ, или спускался въ садъ и сидѣлъ тамъ на скамейкѣ, въ пальто и съ тросточкой, надвинувъ на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая изъ-подъ ея полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видѣть А. П—ча, постоянно кто-нибудь пріѣзжалъ. Приходили незнако-

мые, съ просьбами о карточкахъ, о подписяхъ на книгахъ. Бывали здѣсь и смѣшные курьезы.

Одинъ „тамбовскій помѣщикъ“, какъ окрестилъ его Чеховъ, пріѣхалъ къ нему за врачебной помощью. Тщетно А. П. увѣрялъ, что онъ давно бросилъ практику и отсталъ въ медицинѣ, напрасно рекомендовалъ обратиться къ болѣе опытному доктору,—„тамбовскій помѣщикъ“ стоялъ на своемъ: никакимъ докторамъ, кромѣ Чехова, онъ не хочетъ вѣрить. Волей-неволей пришлось дать ему нѣсколько незначительныхъ, совершенно невинныхъ совѣтовъ. Прощаясь, „тамбовскій помѣщикъ“ положилъ на столъ два золотыхъ и, какъ его не уговаривалъ А. П., ни за что не соглашался взять ихъ обратно. Антонъ Павловичъ принужденъ былъ уступить. Онъ сказалъ, что, не желая и не считая себя въ правѣ брать эти деньги, какъ гонораръ, онъ возьметъ ихъ на нужды ялтинскаго благотворительнаго общества и тутъ же написалъ росписку въ ихъ полученіи. Оказывается, только того и нужно было „тамбовскому помѣщику“. Съ сіяющимъ лицомъ, бережно спряталъ онъ росписку въ бумажникъ и тогда ужъ признался, что единственной цѣлью его посѣщенія было желаніе пріобрѣсти автографъ Чехова. Объ этомъ оригинальномъ и настойчивомъ паціентѣ А. П. разсказывалъ мнѣ самъ—полусмѣясь, полусердито.

Повторяю, многіе изъ этихъ посѣтителей порядкомъ донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, онъ со всѣми оставался ровенъ, терпѣливо-внимателенъ, доступенъ всѣмъ, желавшимъ его видѣть. Эта деликатность его доходила порою до той трогательной черты, которая граничитъ съ безволіемъ. Такъ, напримѣръ, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется, въ день его именинъ, огромнаго сидячаго мопса, сдѣланнаго изъ раскрашеннаго гипса, аршина въ $1\frac{1}{2}$ высотою отъ земли, т. е. раза въ два больше натуральнаго роста. Мопса этого поса-

дили внизу на площадкѣ, около столовой, и онъ сидѣлъ тамъ съ разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всѣхъ, забывавшихъ о немъ, своей мертвой неподвижностью.

— Знаете, я самъ этого каменнаго пса боюсь,— признавался Чеховъ.—А убрать его какъ-то неловко, обидятся. Пусть ужъ тутъ живетъ.

И вдругъ, съ глазами, загоравшимися смѣхомъ, онъ прибавлялъ неожиданно, по своему обыкновенію:

— А вы замѣтили, что въ домахъ богатыхъ евреевъ такіе мопсы часто сидятъ у камина?

Въ иные дни его просто угнетали всякіе хвалители, порицатели, поклонники и даже совѣтчики. „У меня такая масса посѣтителей,—жаловался онъ въ одномъ письмѣ,—что голова ходитъ кругомъ. Трудно писать". Но все-таки онъ не оставался равнодушнымъ къ искреннему чувству любви и уваженія и всегда отличалъ его отъ праздной и льстивой болтовни. Какъ-то разъ онъ вернулся въ очень веселомъ настроеніи духа съ набережной, гдѣ онъ изрѣдка прогуливался, и съ большимъ оживленіемъ разсказывалъ:

— У меня была сейчасъ чудесная встрѣча. На набережной вдругъ подходитъ ко мнѣ офицеръ артиллеристъ, совсѣмъ молодой еще, подпоручикъ. — „Вы А. П. Чеховъ?" — „Да, это я. Что вамъ угодно?"— „Извините меня за навязчивость, но мнѣ такъ давно хочется пожать вашу руку!" И покраснѣлъ. Такой чудесный малый и лицо милое. Пожали мы другъ другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовалъ себя А. П. къ вечеру, часамъ къ семи, когда въ столовой опять собирались къ чаю и легкому ужину. Здѣсь иногда—по годъ отъ году все рѣже и рѣже—воскресалъ въ немъ прежній Чеховъ, неистощимо веселый, остроумный, съ кипучимъ, неотразимымъ юношескимъ юморомъ. Тогда онъ импровизировалъ цѣлыя исторіи, гдѣ дѣйствующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивалъ воображаемыя свадьбы, которыя иногда кончались

тѣмъ, что на другой день утромъ, сидя за чаемъ, молодой мужъ говорилъ вскользь, небрежнымъ и дѣловымъ тономъ:

— Знаешь, милая, а послѣ чаю мы съ тобой одѣнемся и поѣдемъ къ нотаріусу. Къ чему тебѣ лишнія заботы о твоихъ деньгахъ?

Придумывалъ онъ удивительныя—чеховскія—фамиліи, изъ которыхъ я теперь—увы!—помню только одного миѳическаго матроса Кошкодавленко. Любилъ онъ также, шутя, старить писателей. „Что вы говорите,—Бунинъ мой сверстникъ,—увѣрялъ онъ съ напускной серьезностью,—Телешовъ тоже. Онъ уже старый писатель. Вы спросите его сами: онъ вамъ разскажетъ, какъ мы съ нимъ гуляли на свадьбѣ у И. А. Бѣлоусова. Когда это было!“ Одному талантливому беллетристу, серьезному, идейному писателю онъ говорилъ: „Послушайте же, вѣдь вы на двадцать лѣтъ меня старше. Вѣдь это вы раньше писали подъ псевдонимомъ Несторъ Кукольникъ“...

Но никогда отъ его шутокъ не оставалось занозъ въ сердцѣ, такъ же какъ никогда въ своей жизни этотъ удивительно-нѣжный человѣкъ не причинилъ сознательно даже самаго маленькаго страданія ничему живущему.

Послѣ ужина онъ неизмѣнно задерживалъ кого-нибудь у себя въ кабинетѣ на полчаса, или на часъ. На письменномъ столѣ зажигались свѣчи. А потомъ, когда уже всѣ расходились и онъ оставался одинъ, то еще долго свѣтился огонь въ его большомъ окнѣ. Писалъ ли онъ въ это время, или разбирался въ своихъ памятныхъ книжкахъ, занося впечатлѣнія дня — это, кажется, не было никому извѣстно.

VI.

Вообще, мы почти ничего не знаемъ не только о тайнахъ его творчества, но даже и о внѣшнихъ, привычныхъ пріемахъ его работы. Въ этомъ отношеніи

А. П. былъ до страннаго скрытенъ и молчаливъ. Помню, какъ-то мимоходомъ онъ сказалъ очень значительную фразу.

— Только спаси васъ Богъ читать кому-нибудь свои произведенія, пока они не напечатаны. Даже въ корректурѣ не читайте.

Такъ онъ и самъ поступалъ постоянно, хотя иногда дѣлалъ исключенія для жены и сестры. Раньше, говорятъ, онъ былъ щедрѣе на этотъ счетъ.

Это было въ то время, когда онъ писалъ очень много и очень быстро. Онъ самъ говорилъ, что писалъ тогда по разсказу въ день. Объ этомъ же разсказывала и Е. Я. Чехова. „Бывало, еще студентомъ, Антоша сидитъ утромъ за чаемъ и вдругъ задумается, смотритъ иногда прямо въ глаза, а я знаю, что онъ ужъ ничего не видитъ. Потомъ достанетъ изъ кармана книжку и пишетъ быстро, быстро. И опять задумается“...

Но въ послѣдніе годы Чеховъ сталъ относиться къ себѣ все строже и все требовательнѣе: держалъ разсказы по нѣскольку лѣтъ, не переставая ихъ исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, корректуры, возвращавшіяся отъ него, бывали кругомъ испещрены знаками, помѣтками и вставками. Для того, чтобы окончить произведеніе, онъ долженъ былъ писать его, не отрываясь. „Если я надолго оставлю разсказъ,—говорилъ онъ какъ-то,— то уже не могу потомъ приняться за его окончаніе. Мнѣ надо тогда начинать снова!

Гдѣ онъ черпалъ свои образы? Гдѣ находилъ свои наблюденія и сравненія? Гдѣ онъ выковывалъ свой великолѣпный, единственный въ русской литературѣ языкъ? Онъ никому не повѣрялъ и не обнаруживалъ своихъ творческихъ путей. Говорятъ, послѣ него осталось много записныхъ книжекъ; можетъ быть, въ нихъ современемъ найдутся ключи къ этимъ сокровеннымъ тайнамъ? А можетъ быть, онѣ и навсегда останутся неразгаданными? Кто знаетъ? Во всякомъ случаѣ мы

должны довольствоваться въ этомъ направленіи только осторожными намеками и предположеніями.

Я думаю, что всегда, съ утра до вечера, а можетъ быть, даже и ночью, во снѣ и безсонницѣ, совершалась въ немъ незримая, но упорная, порою даже безсознательная работа,—работа взвѣшиванія, опредѣленія и запоминанія. Онъ умѣлъ слушать и разспрашивать, какъ никто, но часто, среди живого разговора, можно было замѣтить, какъ его внимательный и доброжелательный взглядъ вдругъ дѣлался неподвижнымъ и глубокимъ, точно уходилъ куда-то внутрь, созерцая нѣчто таинственное и важное, совершавшееся въ его душѣ. Тогда-то А. П. и дѣлалъ свои странные, поражавшіе неожиданностью, совсѣмъ не идущіе къ разговору вопросы, которые такъ смущали многихъ. Только-что говорили и еще продолжаютъ говорить о неомарксистахъ, а онъ вдругъ спрашиваетъ: „послушайте, вы никогда не были на конскомъ заводѣ? Непремѣнно поѣзжайте. Это интересно". Или вторично предлагаетъ вопросъ, на который только-что получилъ отвѣтъ.

Внѣшней, механической памятью Чеховъ не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которой такъ часто обладаютъ въ сильной степени женщины и крестьяне, и которая состоитъ въ запоминаніи того, кто какъ былъ одѣтъ, носитъ ли бороду и усы, какая была цѣпочка отъ часовъ и какіе сапоги, какого цвѣта волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато онъ сразу бралъ всего человѣка, опредѣлялъ быстро и вѣрно, точно опытный химикъ, его удѣльный вѣсъ, качества и порядокъ и уже зналъ, какъ очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.

Однажды Чеховъ съ легкимъ неудовольствіемъ говорилъ о своемъ хорошемъ знакомомъ, извѣстномъ ученомъ, который, несмотря на давнюю дружбу, нѣсколько утѣснялъ А. П—ча своей многословностью. Какъ только пріѣдетъ въ Ялту, сейчасъ же является къ Чехову и сидитъ съ утра до обѣда; въ обѣдъ уѣдетъ къ себѣ въ

гостинницу на полчаса, а тамъ опять пріѣзжаетъ и сидитъ до глубокой ночи и все говоритъ, говоритъ, говоритъ... И такъ каждый день.

И вдругъ, быстро обрывая этотъ разсказъ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А. П. прибавлялъ оживленно:

— А вѣдь никто не догадывается, что—самое характерное въ этомъ человѣкѣ. А я вотъ знаю. То, что онъ профессоръ и ученый съ европейскимъ именемъ—это для него второстепенное. Главное то, что онъ считаетъ себя въ душѣ замѣчательнымъ актеромъ и глубоко вѣритъ въ то, что только по волѣ случая онъ не пріобрѣлъ на сценѣ міровой извѣстности. Дома онъ постоянно читаетъ вслухъ Островскаго.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанію, онъ вдругъ замѣтилъ:

— Знаете: Москва—самый характерный городъ. Въ ней все неожиданно. Выходимъ мы какъ-то утромъ съ публицистомъ С—нымъ изъ Большого Московскаго. Это было послѣ длиннаго и веселаго ужина. Вдругъ С—нъ тащитъ меня къ Иверской, здѣсь же, напротивъ. Вынимаетъ пригоршню мѣди и начинаетъ одѣлять нищихъ—ихъ тамъ десятки. Сунетъ копѣечку и бормочетъ: о здравіи раба Божія Михаила. Это его Михаиломъ зовутъ. И опять: раба Божія Михаила, раба Божія Михаила... А самъ въ Бога не вѣритъ... Чудакъ...

Тутъ я долженъ подойти къ щекотливому мѣсту, которое, можетъ быть, не всѣмъ понравится. Я глубоко убѣжденъ въ томъ, что Чеховъ съ одинаковымъ вниманіемъ и съ одинаковымъ проникновеннымъ любопытствомъ разговаривалъ съ ученымъ и съ разносчикомъ, съ просящимъ на бѣдность и съ литераторомъ, съ крупнымъ земскимъ дѣятелемъ и съ сомнительнымъ монахомъ, и съ приказчикомъ, и съ маленькимъ почтовымъ чиновникомъ, отсылавшимъ ему корреспонденцію. Не оттого ли у него въ разсказахъ профессоръ говоритъ и думаетъ именно какъ старый профессоръ, а бродяга, какъ истый бродяга? И не оттого ли

у него тотчасъ же послѣ его смерти отыскалось такое множество „закадычныхъ“ друзей, за которыхъ онъ, по ихъ словамъ, былъ готовъ въ огонь и даже въ воду?

Думается, что онъ никому не раскрывалъ и не отдавалъ своего сердца вполнѣ (была, впрочемъ, легенда о какомъ-то его близкомъ, любимомъ другѣ, чиновникѣ изъ Таганрога). Но ко всѣмъ относился благодушно, безразлично въ смыслѣ дружбы, и въ то же время съ большимъ, можетъ быть, безсознательнымъ интересомъ.

Свои чеховскія словечки и эти изумительныя по своей сжатости и мѣткости черточки бралъ онъ нерѣдко прямо изъ жизни. Выраженіе „не нравится мнѣ это“, перешедшее такъ быстро изъ „Архіерея“ въ обиходъ широкой публики, было имъ почерпнуто отъ одного мрачнаго бродяги, полупьяницы, полупомѣшаннаго, полупророка. Также, помню, разговорились мы съ нимъ какъ-то о давно уже умершемъ московскомъ поэтѣ, и Чеховъ съ яркостью вспомнилъ и его, и его сожительницу, и его пустыя комнаты, и его сенъбернара „Дружка“, страдавшаго вѣчнымъ разстройствомъ желудка. „Какъ же, отлично помню, — говорилъ А. П., весело улыбаясь, — въ пять часовъ къ нему всегда входила эта женщина и спрашивала: „Ліодоръ Иванычъ, а, Ліодоръ Иванычъ, а что, вамъ не пора пиво пить?“ Я тогда же неосторожно сказалъ: ахъ, такъ вотъ откуда это у васъ въ Палатѣ № 6!“— Ну да, оттуда,—отвѣтилъ А. П. съ неудовольствіемъ.

Были у него также знакомыя изъ тѣхъ средостѣнныхъ купчихъ, которыя, несмотря на милліоны и на самыя модныя платья, и на внѣшній интересъ къ литературѣ, говорили „едеялъ“ и „принціапально“. Иныя изъ нихъ часами изливались передъ Чеховымъ: какія у нихъ необыкновенно тонкія, „нервенныя“ натуры, и какой бы замѣчательный романъ могъ сдѣлать „гинеяльный“ писатель изъ ихъ жизни, если бы все разсказать. А онъ ничего, сидѣлъ себѣ и молчалъ, и слушалъ съ видимымъ удовольствіемъ,—только подъ усами у него скользила чуть замѣтная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что онъ *искалъ*, подобно многимъ другимъ писателямъ, моделей. Но мнѣ думается, что онъ всюду и всегда видѣлъ матеріалъ для наблюденій, и выходило у него это поневолѣ, можетъ быть, часто противъ желанія, въ силу давно изощренной и никогда неискоренимой привычки вдумываться въ людей, анализировать ихъ и обобщать. Въ этой сокровенной работѣ было для него, вѣроятно, все мученіе и вся радость вѣчнаго безсознательнаго процесса творчества.

Ни съ кѣмъ не дѣлился онъ своими впечатлѣніями, такъ же какъ никому не говорилъ о томъ, что и какъ собирается онъ писать. Также чрезвычайно рѣдко сказывался въ его рѣчахъ художникъ и беллетристъ. Онъ, отчасти нарочно, отчасти инстинктивно, употреблялъ въ разговорѣ обыкновенныя, среднія, общія выраженія, не прибѣгая ни къ сравненіямъ, ни къ картинамъ. Онъ берегъ свои сокровища въ душѣ, не позволяя имъ расточаться въ словесной пѣнѣ, и въ этомъ была громадная разница между нимъ и тѣми беллетристами, которые разсказываютъ свои темы гораздо лучше, чѣмъ ихъ пишутъ.

Происходило это, думаю, отъ природной сдержанности, но также и отъ особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящіе, болѣзненно стыдящіеся слишкомъ выразительныхъ позъ, жестовъ, мимики и словъ, и этимъ свойствомъ А. П. обладалъ въ высшей степени. Здѣсь-то, можетъ быть, и кроется разгадка его *кажущагося* безразличія къ вопросамъ борьбы и протеста, и равнодушія къ интересамъ злободневнаго характера, волновавшимъ и волнующимъ всю русскую интеллигенцію. Въ немъ жила боязнь паѳоса, сильныхъ чувствъ и неразлучныхъ съ ними нѣсколько театральныхъ эффектовъ. Съ однимъ только я могу сравнить такое положеніе: нѣкто любитъ женщину со всѣмъ пыломъ, нѣжностью и глубиной, на которые способенъ человѣкъ огромнаго ума и таланта. Но никогда онъ не рѣшится сказать объ этомъ пышными, выспренними словами и даже представить себѣ не

можетъ, какъ это онъ станетъ на колѣни и прижметъ одну руку къ сердцу, и какъ заговоритъ дрожащимъ голосомъ перваго любовника. И потому онъ любитъ и молчитъ, и страдаетъ молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всѣмъ правиламъ декламаціи изъясняетъ фатъ средняго пошиба.

VII.

Къ молодымъ, начинающимъ писателямъ Чеховъ былъ неизмѣнно участливъ, внимателенъ и ласковъ. Никто отъ него не уходилъ подавленный его огромнымъ талантомъ и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказалъ онъ: „дѣлайте, какъ я; вотъ, смотрите, какъ я поступаю". Если кто-нибудь въ отчаяніи жаловался ему: „развѣ стоитъ писать, если на всю жизнь останешься „нашимъ молодымъ" и „подающимъ надежды",—онъ отвѣчалъ спокойно и серьезно:

— Не всѣмъ же, батенька, писать, какъ Толстой.

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Одинъ начинающій писатель пріѣхалъ въ Ялту и остановился гдѣ-то за Ауткой, на окраинѣ города, нанявъ комнату въ шумной и многочисленной греческой семьѣ. Какъ-то онъ пожаловался Чехову, что въ такой обстановкѣ трудно писать, и вотъ Чеховъ настоялъ на томъ, чтобы писатель непремѣнно приходилъ къ нему съ утра и занимался у него внизу, рядомъ со столовой. „Вы будете внизу писать, а я вверху,— говорилъ онъ со своей очаровательной улыбкой. — И обѣдать будете также у меня. А когда кончите, непремѣнно прочтите, или, если уѣдете, пришлите хотя бы въ корректурѣ".

Читалъ онъ удивительно много и всегда все помнилъ и никого ни съ кѣмъ не смѣшивалъ. Если авторы спрашивали его мнѣнія, онъ всегда хвалилъ и хвалилъ не для того, чтобы отвязаться, а потому что зналъ, какъ жестоко подрѣзаетъ слабыя крылья рѣзкая, хотя бы и справедливая критика, и какую бо-

дрость и надежду вливаетъ иногда незначительная похвала. „Читалъ вашъ разсказъ. Чудесно написано“, говорилъ онъ въ такихъ случаяхъ грубоватымъ и задушевнымъ голосомъ. Впрочемъ, при нѣкоторомъ довѣріи и болѣе близкомъ знакомствѣ, и въ особенности по убѣдительной просьбѣ автора, онъ высказывался, хотя и съ осторожными оговорками, но опредѣленнѣе, пространнѣе и прямѣе. У меня хранятся два его письма, написанныя одному и тому же беллетристу, по поводу одной и той же вещи. Вотъ выдержка изъ перваго.

„Дорогой NN., повѣсть получилъ и прочелъ, большое Вамъ спасибо. Повѣсть хороша, прочелъ я ее въ одинъ разъ, какъ и предыдущую, и получилъ одинаковое удовольствіе“...

Но такъ какъ авторъ не удовольствовался одной похвалой, то вскорѣ онъ получилъ отъ А. П. другое письмо.

„Вы хотите, чтобы я говорилъ только о недостаткахъ, и этимъ ставите меня въ затруднительное положеніе. Въ этой повѣсти недостатковъ нѣтъ, и если можно не соглашаться, то лишь съ особенностями ея нѣкоторыми. Напримѣръ, героевъ своихъ, актеровъ, Вы трактуете по старинкѣ, какъ трактовались они уже лѣтъ сто, всѣми писавшими о нихъ,—ничего новаго. Во-вторыхъ, въ первой главѣ Вы заняты описаніемъ наружностей — опять таки по старинкѣ, описаніемъ, безъ котораго можно обойтись. Пять опредѣленно изображенныхъ наружностей утомляютъ вниманіе и въ концѣ концовъ теряютъ свою цѣнность. Бритые актеры похожи другъ на друга, какъ ксендзы, и остаются похожими, какъ бы старательно Вы ни изображали ихъ. Въ третьихъ, грубоватый тонъ, излишества въ изображеніи пьяныхъ. Вотъ и все, что я могу Вамъ сказать въ отвѣтъ на Вашъ вопросъ о недостаткахъ, больше ужъ ничего придумать не могу“.

Къ тѣмъ изъ писателей, съ которыми у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, онъ всегда относился бережно и внимательно. Никогда онъ не

упускалъ случая сообщить извѣстіе, которое, онъ зналъ, будетъ пріятно или полезно.

„Дорогой NN., — писалъ онъ одному знакомому, — симъ извѣщаю Васъ, что Вашу повѣсть читалъ Л. Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку по адресу: Кореизъ, Таврич. губ., и въ заглавіи подчеркните разсказы, которые вы находите лучшими, чтобы онъ, читая, началъ съ нихъ. Или книжку пришлите мнѣ, а я ужъ передамъ ему“.

Къ пишущему эти строки онъ также проявилъ однажды милую любезность, сообщивъ письмомъ, что „въ Словарѣ русскаго языка, издаваемомъ Академіей наукъ, въ шестомъ выпускѣ второго тома, который (т. е. выпускъ) я сегодня получилъ, показались наконецъ и Вы. Такъ, на страницѣ 1868“ и т. д.

Все это, конечно, мелочи, но въ нихъ сквозитъ такъ много участія и заботливости, что теперь, когда нѣтъ уже больше этого изумительнаго художника и прекраснаго человѣка, его письма пріобрѣтаютъ значеніе какой-то далекой, невозвратимой ласки.

— Пишите, пишите, какъ можно больше, — говорилъ онъ начинающимъ беллетристамъ. — Не бѣда, если у васъ не совсѣмъ выходитъ. Потомъ будетъ выходить лучше. А главное, не тратьте понапрасну молодости и упругости: теперь вамъ только и работать. Смотрите: вотъ вы пишете чудесно, а лексиконъ у васъ маленькій. Нужно набираться словъ и оборотовъ, а для этого необходимо писать каждый день.

И онъ самъ неустанно работалъ надъ собой; обогащая свой прелестный, разнообразный языкъ отовсюду: изъ разговоровъ, изъ словарей, изъ каталоговъ, изъ ученыхъ сочиненій, изъ священныхъ книгъ. Запасъ словъ у этого молчаливаго человѣка былъ необычайно громаденъ.

— Слушайте: ѣздите почаще въ III классѣ, — совѣтовалъ онъ. — Я жалѣю, что болѣзнь мѣшаетъ мнѣ теперь ѣздить въ III классѣ. Тамъ иногда услышишь замѣчательно интересныя вещи.

Удивлялся онъ также тѣмъ писателямъ, которые по цѣлымъ годамъ не видятъ ничего, кромѣ сосѣдняго брандмауера изъ оконъ своихъ петербургскихъ кабинетовъ. И часто онъ говорилъ съ оттѣнкомъ нетерпѣнія:

— Не понимаю, отчего вы — молодой, здоровый и свободный, не поѣдете, напримѣръ, въ Австралію (Австралія была почему-то его излюбленной частью свѣта), или въ Сибирь? Какъ только мнѣ станетъ получше, я непремѣнно опять поѣду въ Сибирь. Я тамъ былъ, когда ѣздилъ на Сахалинъ. Вы представить себѣ не можете, батенька, какая это чудесная страна. Совсѣмъ особое государство. Знаете, я убѣжденъ, что Сибирь когда-нибудь совершенно отдѣлится отъ Россіи, вотъ такъ же, какъ Америка отдѣлилась отъ метрополіи. Поѣзжайте, поѣзжайте туда непремѣнно...

— Отчего вы не напишете пьесу?—спрашивалъ онъ иногда.—Да напишите же, въ самомъ дѣлѣ. Каждый писатель долженъ написать, по крайней мѣрѣ, четыре пьесы.

Но тутъ же онъ соглашался, что драматическій родъ сочиненій теряетъ съ каждымъ днемъ интересъ въ наше время. „Драма должна или выродиться совсѣмъ, или принять совсѣмъ новыя, невиданныя формы,—говорилъ онъ.—Мы себѣ и представить не можемъ, чѣмъ будетъ театръ черезъ сто лѣтъ“.

Бывали у А. П. иногда маленькія противорѣчія, которыя въ немъ казались особенно привлекательными и въ то же время имѣли глубокій внутренній смыслъ. Такъ было однажды съ вопросомъ о записныхъ книжкахъ. Чеховъ только-что съ увлеченіемъ убѣждалъ насъ не обращаться къ ихъ помощи, полагаясь во всемъ на память и на воображеніе. „Крупное само останется,—доказывалъ онъ,—а мелочи вы всегда изобрѣтете, или отыщете“. Но вотъ, спустя часъ, кто-то изъ присутствующихъ, прослужившій какъ-то годъ на сценѣ, сталъ разсказывать о своихъ театральныхъ впечатлѣніяхъ и, между прочимъ, упомянулъ о такомъ случаѣ. Идетъ дневная репетиція въ садовомъ театрѣ малень-

каго провинціальнаго городка. Первый любовникъ въ шляпѣ и въ клѣтчатыхъ панталонахъ, руки въ карманахъ, расхаживаетъ по сценѣ, рисуясь передъ случайной публикой, забредшей въ зрительный залъ. Энженю-комикъ, его „театральная“ жена, тоже находившаяся на сценѣ, обращается къ нему: „Саша, какъ это ты вчера напѣвалъ изъ Паяцевъ? Насвищи пожалуйста“. Первый любовникъ поворачивается къ ней, медленно мѣряетъ ее съ ногъ до головы уничтожающимъ взоромъ и говоритъ жирнымъ актерскимъ голосомъ: „Что-о? Свистать на сценѣ? А въ церкви ты будешь свистать? Такъ знай же, что сцена—тотъ же храмъ!“

Послѣ этого разсказа, А. П. сбросилъ pince-nez, откинулся на спинку кресла и захохоталъ своимъ громкимъ, яснымъ смѣхомъ. И тотчасъ же полѣзъ въ боковой ящикъ стола за записной книжкой. „Постойте, постойте, какъ вы это разсказывали? Сцена это храмъ?..“ И записалъ весь анекдотъ.

Въ сущности, даже и противорѣчія во всемъ этомъ не было, и самъ А. П. потомъ объяснилъ это. „Не надо записывать сравненій, мѣткихъ черточекъ, подробностей картинъ природы—это должно появиться само собой, когда будетъ нужно. Но голый фактъ, рѣдкое имя, техническое названіе надо занести въ книжку—иначе забудется, разсѣется“.

Нерѣдко вспоминалъ Чеховъ тѣ тяжелыя минуты, которыя ему доставляли редакціи серьезныхъ журналовъ до той поры, пока съ легкой руки „Сѣвернаго Вѣстника“ онъ не завоевалъ ихъ окончательно.

— Въ одномъ отношеніи вы всѣ должны быть мнѣ благодарны,—говорилъ онъ молодымъ писателямъ.—Это я открылъ путь для авторовъ маленькихъ разсказовъ. Прежде, бывало, принесешь въ редакцію рукопись, такъ ее даже читать не хотятъ. Только посмотрятъ съ пренебреженіемъ. „Что? *Это* называется—произведеніемъ? Да вѣдь *это* короче воробьинаго носа. Нѣтъ, намъ такихъ *штучекъ* не надо“. А я вотъ добился и другимъ указалъ дорогу. Да это еще что,

такъ ли со мной обращались! Имя мое сдѣлали нарицательнымъ. Такъ и острили, бывало: эхъ вы, Че-хо-вы! Должно быть, это было смѣшно.

Антонъ Павловичъ держался высокаго мнѣнія о современной литературѣ, т. е., собственно говоря, о техникѣ теперешняго письма. „Всѣ ныньче стали чудесно писать, плохихъ писателей вовсе нѣтъ,—говорилъ онъ рѣшительнымъ тономъ.—И оттого-то теперь все труднѣе становится выбиться изъ неизвѣстности. И, знаете, кто сдѣлалъ такой переворотъ? Мопассанъ. Онъ, какъ художникъ слова, поставилъ такія огромныя требованія, что писать по старинкѣ сдѣлалось ужъ больше невозможнымъ. Попробуйте-ка вы теперь перечитать нѣкоторыхъ нашихъ классиковъ, ну хоть Писемскаго или Островскаго, нѣтъ, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общія мѣста. За то возьмите, съ другой стороны нашихъ декадентовъ. Это они лишь притворяются больными и безумными,—они всѣ здоровые мужики. Но писать—мастера.“

Въ то же время онъ требовалъ отъ писателей обыкновенныхъ житейскихъ сюжетовъ, простоты изложенія и отсутствія эффектныхъ колѣнецъ. „Зачѣмъ это писать,—недоумѣвалъ онъ,—что кто-то сѣлъ на подводную лодку и поѣхалъ къ сѣверному полюсу искать какого-то примиренія съ людьми, а въ это время его возлюбленная съ драматическимъ воплемъ бросается съ колокольни? Все это неправда и въ дѣйствительности этого не бываетъ. Надо писать просто: о томъ, какъ Петръ Семеновичъ женился на Марьѣ Ивановнѣ. Вотъ и все. И потомъ, зачѣмъ эти подзаголовки: психическій этюдъ, жанръ, новелла? Все это однѣ претензіи. Поставьте заглавіе попроще,—все-равно, какое придетъ въ голову — и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычекъ, курсивовъ и тире — это манерно“.

Еще училъ онъ, чтобы писатель оставался равнодушенъ къ радостямъ и огорченіямъ своихъ героевъ. „Въ одной хорошей повѣсти,—разсказывалъ онъ,—я прочелъ описаніе приморскаго ресторана въ большомъ

городѣ. И сразу видно, что автору въ диковинку и эта музыка, и электрическій свѣтъ, и розы въ петлицахъ, и что онъ самъ любуется на нихъ. Такъ—нехорошо. Нужно стоять внѣ этихъ вещей, и хотя знать ихъ хорошо, до мелочи, но глядѣть на нихъ какъ бы съ презрѣніемъ, сверху внизъ. И выйдетъ вѣрно".

VIII.

Сынъ Альфонса Додэ въ своихъ воспоминаніяхъ объ отцѣ упоминаетъ о томъ, что этотъ талантливый французскій писатель, полушутя, называлъ себя „продавцомъ счастья". Къ нему постоянно обращались люди разныхъ положеній за совѣтомъ и за помощью, приходили со своими огорченіями и заботами, и онъ, уже прикованный къ креслу неизлѣчимой, мучительной болѣзнью, находилъ въ себѣ достаточно мужества, терпѣнія и любви къ человѣку, чтобы войти душой въ чужое горе, утѣшить, успокоить и ободрить.

Чеховъ, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращенію къ фразѣ, никогда не сказалъ бы о себѣ ничего подобнаго, но какъ часто приходилось ему выслушивать тяжелыя исповѣди, помогать словомъ и дѣломъ, протягивать падающему свою нѣжную и твердую руку. Въ своей удивительной объективности, стоя выше частныхъ горестей и радостей, онъ все зналъ и видѣлъ; но ничто личное не мѣшало его проникновенію; онъ могъ быть добрымъ и щедрымъ, не любя, ласковымъ и участливымъ, безъ привязанности,—благодѣтелемъ, не разсчитывая на благодарность. И въ этихъ чертахъ, которыя всегда оставались неясными для его окружающихъ, кроется, можетъ быть, главная разгадка его личности.

Пользуясь позволеніемъ одного моего друга, я приведу коротенькій отрывокъ изъ чеховскаго письма. Дѣло въ томъ, что этотъ человѣкъ переживалъ большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правдѣ сказать, порядочно докучалъ А. П. своей болью. И вотъ, Чеховъ однажды написалъ ему:

„Скажите Вашей женѣ, чтобы не безпокоилась, все обойдется благополучно. Роды будутъ продолжаться часовъ 20, а потомъ наступитъ блаженнѣйшее состояніе, когда она будетъ улыбаться, а Вамъ будетъ хотѣться плакать отъ умиленія. 20 часовъ—это обыкновенный maximum для первыхъ родовъ".

Какое тонкое вниманіе къ чужой тревогѣ слышится въ этихъ немногихъ, простыхъ строчкахъ. Но еще характернѣе то, что когда впослѣдствіи, уже сдѣлавшись счастливымъ отцомъ, этотъ мой пріятель спросилъ, вспомнивъ о письмѣ, откуда Чеховъ такъ хорошо знаетъ эти чувства, А. П. отвѣтилъ спокойно, даже равнодушно:

— Да вѣдь, когда я жилъ въ деревнѣ, мнѣ постоянно приходилось принимать у бабъ. *Все равно—и тамъ такая же радость.*

Если бы Чеховъ не былъ такимъ замѣчательнымъ писателемъ, онъ былъ бы прекраснымъ врачомъ. Доктора, приглашавшіе его изрѣдка на консультаціи, отзывались о немъ, какъ о чрезвычайно вдумчивомъ наблюдателѣ и находчивомъ, проницательномъ діагностѣ. Да и не было бы ничего удивительнаго въ томъ, если бы его діагнозъ оказался совершеннѣе и глубже діагноза, поставленнаго какой-нибудь дутой модной знаменитостью. Онъ видѣлъ и слышалъ въ человѣкѣ—въ его лицѣ, голосѣ и походкѣ – то, что было скрыто отъ другихъ, что не поддавалось, ускользало отъ глаза средняго наблюдателя.

Самъ онъ предпочиталъ совѣтовать, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда къ нему обращались, средства испытанныя, простыя, по преимуществу домашнія. Между прочимъ, чрезвычайно удачно лѣчилъ онъ дѣтей.

Вѣрилъ онъ въ медицину твердо и крѣпко, и ничто не могло пошатнуть этой вѣры. Помню я, какъ однажды онъ разсердился, когда кто-то началъ свысока третировать медицину, по роману Золя—„Докторъ Паскаль".

— Золя вашъ ничего не понимаетъ и все выдумываетъ у себя въ кабинетѣ,—сказалъ онъ, волнуясь и

покашливая.—Пусть бы онъ поѣхалъ и посмотрѣлъ, какъ работаютъ наши земскіе врачи, и что они дѣлаютъ для народа.

И кто же не знаетъ, какими симпатичными чертами, съ какой любовью и какъ часто описывалъ онъ этихъ чудныхъ тружениковъ, этихъ неизвѣстныхъ и незамѣтныхъ героевъ, сознательно осуждающихъ свои имена на забвеніе?

IX.

Есть изреченіе: смерть каждаго человѣка на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о послѣднихъ годахъ жизни Чехова, о послѣднихъ его дняхъ, даже о послѣднихъ минутахъ. Даже въ самыя его похороны судьба внесла, по какой-то роковой послѣдовательности, много чисто чеховскихъ чертъ.

Боролся онъ съ неумолимой болѣзнью долго, страшно долго, но переносилъ ее мужественно, просто и терпѣливо, безъ раздраженія, безъ жалобъ, почти безъ словъ. За послѣднее время лишь мимоходомъ, небрежно упоминаетъ онъ въ письмахъ о своемъ здоровьѣ. „Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу съ компрессомъ...“ „Только-что перенесъ плевритъ, но теперь мнѣ лучше...“ „Здоровье мое не важно... пишу понемногу“...

Не любилъ онъ говорить о своей болѣзни и сердился, когда его разспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь отъ Арсенія. „Сегодня утромъ очень плохо было—кровь шла“, скажетъ онъ шопотомъ, покачивая головой. Или Евгенія Яковлевна сообщитъ по секрету съ тоской въ голосѣ:

— А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлялъ. Мнѣ черезъ стѣнку все слышно.

Зналъ ли онъ размѣры и значеніе своей болѣзни? Я думаю, зналъ, но безтрепетно, какъ врачъ и мудрецъ, глядѣлъ въ глаза надвигавшейся смерти. Были разныя мелкія обстоятельства, указывавшія на это. Такъ, напримѣръ, одной дамѣ, жаловавшейся ему на безсон-

ницу и нервное разстройство, онъ сказалъ спокойно, съ едва лишь уловимымъ оттѣнкомъ покорной грусти:

— Видите ли: пока у человѣка хороши легкія, все хорошо.

Умеръ онъ просто, трогательно и сознательно. Говорятъ, послѣднія его слова были: „ich sterbe“! И послѣдніе его дни были омрачены глубокой скорбью за Россію, были взволнованы ужасомъ этой кровопролитной, чудовищной войны...

Точно сонъ, припоминаются его похороны. Холодный, сѣренькій Петербургъ, путаница съ телеграммами, маленькая кучка народу на вокзалѣ, „вагонъ для устрицъ“, станціонное начальство, никогда не слыхавшее о Чеховѣ и видѣвшее въ его тѣлѣ только желѣзнодорожный грузъ. Потомъ, какъ контрастъ, Москва: стихійное горе, тысячи точно осиротѣвшихъ людей, заплаканныя лица. И наконецъ, могила на Новодѣвичьемъ кладбищѣ, вся заваленная цвѣтами, рядомъ со скромной могилой „вдовы козака Ольги Кукаретниковой“.

Вспоминается мнѣ панихида на кладбищѣ на другой день послѣ его похоронъ. Былъ тихій іюльскій вечеръ, и старыя липы надъ могилами, золотыя отъ солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пѣніе нѣжныхъ женскихъ голосовъ. И было тогда у многихъ въ душѣ какое-то растерянное, тяжелое недоумѣніе.

Расходились съ кладбища медленно, въ молчаніи. Я подошелъ къ матери Чехова и безъ словъ поцѣловалъ ея руку. И она сказала усталымъ, слабымъ голосомъ:

— Вотъ, горе-то у насъ какое...

О, эта потрясающая глубина простыхъ, обыкновенныхъ, истинно чеховскихъ словъ! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившагося событія, открылась за ними. Нѣтъ, утѣшенія здѣсь были бы безсильны. Развѣ можетъ истощиться, успокоиться горе тѣхъ людей, души которыхъ такъ близко прикасались къ великой душѣ избранника?

Но пусть облегчитъ ихъ неутолимую тоску сознаніе, что ихъ горе—и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о безсмертіи этого прекраснаго, чистаго имени. Въ самомъ дѣлѣ: пройдутъ годы и столѣтія, и время сотретъ даже самую память о тысячахъ тысячъ живущихъ нынѣ людей. Но какіе грядущіе потомки, о счастьи которыхъ съ такой благодарительной грустью мечталъ Чеховъ, произнесутъ его имя съ признательностью и съ тихой печалью о его судьбѣ.

I. Въ сумерки.—II. Изъ воспоминаній объ А. П. Чеховѣ.

В. Ладыженскій.

Въ сумерки.

(Дорогой памяти А. П. Чехова.)

Въ свѣжій осенній день, усталый, я возвращался домой по степи. Поблекшая трава изрѣдка дрожала отъ набѣгавшаго вѣтерка и казалось, что ей было холодно, страшно холодно. Впереди, въ оврагѣ вилась безъимянная рѣчка, и на изгибахъ блестѣла стальной, холодной чешуей, въ которую некому уже было глядѣться: сторожевые камыши умерли, далекая синева неба помутнѣла въ наступавшихъ сумеркахъ, а одинокая рѣчка шла впередъ, какъ путникъ, передъ которымъ нѣтъ никакой цѣли. И я шелъ впередъ, замедляя отъ усталости шагъ, и холодное одиночество вмѣстѣ съ надвигавшимися сумерками охватывало меня все больше и больше. Глазу не на чемъ было остановиться въ пустой и непріютной степи съ ея дрожавшей травою. Вдругъ гдѣ-то далеко, далеко, что-то застучало и смолкло, и я долго прислушивался къ умиравшимъ въ воздухѣ звукамъ. Потомъ опять застучало, и похоже было на то, что кто-то колотитъ по застывшей землѣ палкой. Я остановился и сталъ вгля-

дываться. Что-то большое съ неуловимыми очертаніями надвигалось на меня по дорогѣ, а стукъ переходилъ въ ровный и непрерывный грохотъ.

— Да это кто-то ѣдетъ на телѣгѣ, сообразилъ я и посторонился.

Мужикъ въ рваномъ полушубкѣ ѣхалъ, стоя на телѣгѣ, и размахивалъ концами возжей, которые тяжело шлепались по бокамъ его потной кляченки. Онъ гналъ куда-то въ степь, торопясь, и неизвѣстно зачѣмъ, поровнявшись со мной, крикнулъ:

— Держись, баринъ!

И опять я слушалъ, какъ умиралъ стукъ въ пустой степи, и смотрѣлъ, какъ обрывки тучъ, все время заслонявшіе угасавшее солнце, въ недосягаемой вышинѣ гнались за исчезнувшимъ въ степи мужикомъ. Стукъ, наконецъ, замолкъ и стало почему-то еще непріютнѣе... Я прибавилъ шагу. Слава Богу, недалеко и домъ. Вотъ и роща на краю оврага. Но какая она теперь угрюмая, суровая и строгая со своими полуобвалившимися листьями! Здѣсь внизу тихо, такъ тихо, какъ въ покинутомъ храмѣ, и только вверху идетъ сдержанный, точно негодующій ропотъ. Я присѣлъ на завалинкѣ лѣсной избушки рядомъ со старикомъ-караульщикомъ. Старикъ смотрѣлъ куда-то вдаль, въ степь, и молча жевалъ сморщеннымъ, беззубымъ ртомъ. Долго сидѣли мы молча, и каждый былъ занятъ своими, совсѣмъ чужими другъ другу мыслями. Вдругъ на самомъ краю горизонта, прорвавъ тучи, вспыхнуло солнце. Холодное, умиравшее, какъ все кругомъ, оно на нѣсколько минутъ бросило яркіе блики на степь, а въ рощѣ надъ нашими головами, какъ живое, зашевелилось червонное золото листьевъ. На противоположномъ берегу оврага освѣтилось село; стали видны и высокіе журавли колодцевъ, и лохматыя, почернѣвшія отъ дождя и времени крыши избъ, и кучи свѣжей соломы на гумнахъ. Женскій визгливый голосъ запѣлъ было пѣсню, но скоро оборвался, точно конфузясь. И солнце погасло... О, какой холодный, жуткій мракъ наступилъ

сразу! Исчезли очертанія села, оврага и рощи, и мракъ торжествовалъ свою побѣду въ пустой, холодной, непріютной степи.

— Скучно, дѣдушка! проговорилъ, наконецъ, я.

— Что за скука. Кака така скука! отвѣчалъ онъ, нѣсколько помолчавъ.—Кончилось наше времячко, на полати пора на всю зиму — вотъ что. Только бѣдно больно вездѣ, ахъ какъ бѣдно! Бѣдность, ну и извѣстно—грязь, вонь и все такое. Бѣдно, а ты говоришь—скука!

Мы еще посидѣли немного и я побрелъ въ свой пустой, одинокій домъ, торопясь къ уютному свѣту рабочей лампы. Но не спорилась у меня въ этотъ вечеръ работа, и не могъ я къ ней приковать своихъ мыслей...

Съ фотографической карточки на письменномъ столѣ глядитъ на меня твое лицо,—милый, дорогой, ушедшій навсегда другъ. Въ моей памяти живы и всегда будутъ жить твои рѣчи, твой короткій смѣшокъ и выраженіе твоихъ глазъ—то грустныхъ и тоскующихъ, то вспыхивавшихъ искрами могучаго, непобѣдимаго юмора. Ты любилъ жизнь и ушелъ изъ нея, какъ яркій солнечный лучъ. Встрѣтивъ сумерки жизни, ты осмыслилъ ихъ и воплотилъ въ неувядающихъ образахъ. Но какъ ты вѣрилъ, какъ мы всѣ вѣрили въ твой призывъ къ жизни красивой, изящной и умной! Вѣдь она придетъ же къ намъ, эта жизнь! И угасая на далекой чужбинѣ, не даромъ же ты сравнивалъ чужую жизнь съ своей родной, не даромъ твоя умиравшая мысль билась такой горячей, страстной любовью къ родной сторонѣ. Только зачѣмъ, зачѣмъ такъ рано красивые цвѣты, лавровые вѣнки и вѣнки изъ вишневыхъ листьевъ, сорванные и сплетенные для тебя твоей родиной, — достались твоей могилѣ?... Съ фотографической карточки на письменномъ столѣ глядитъ на меня твое лицо, милый, дорогой другъ... Я по прежнему, но теперь уже мысленно, бесѣдую съ

тобой, и тихо теплится моя одинокая рабочая лампа. А за окномъ давно уже кончились сумерки и стоитъ молчаливая, холодная ночь. И мнѣ кажется, что я разгадалъ ея думы: она ждетъ. Ей страстно хочется одного,—разсвѣта и солнца, яркаго, горячаго солнца...

Изъ воспоминаній объ А. П. Чеховѣ.

О Чеховѣ можно писать очень много. Слѣдовало бы припоминать каждую его яркую мысль, останавливаться на каждомъ значительномъ выраженіи, чтобы облегчить этимъ работу его будущаго біографа при возстановленіи этой огромной фигуры въ нашей жизни и литературѣ. Настоящія замѣтки не претендуютъ на это. Въ нихъ мнѣ хотѣлось отмѣтить только нѣкоторыя и притомъ общія черты того цѣлостнаго впечатлѣнія, которое всегда производилъ на меня почившій художникъ.

Познакомился я съ А. П. Чеховымъ въ Петербургѣ, сколько припоминаю, въ самомъ концѣ восьмидесятыхъ годовъ. Въ ту пору собирался кружокъ молодыхъ начинающихъ писателей у А. Н. Плещеева, въ его небольшой квартиркѣ на Спасской площади. А. Н. Плещеевъ, тогда уже старикъ, бившійся съ матеріальной нуждой,—это было еще до полученія имъ наслѣдства,—оставался тѣмъ не менѣе идеалистомъ въ самомъ хорошемъ значеніи этого слова. Работалъ онъ тогда въ журналѣ „Сѣверный Вѣстникъ“ вмѣстѣ съ покойнымъ Н. К. Михайловскимъ. По вечерамъ на его гостепріимный огонекъ собирались молодые писатели и особенно поэты, которымъ онъ покровительствовалъ и выводилъ ихъ въ литературный свѣтъ, и здѣсь до поздней ночи раздавались безконечные споры и лились горячія рѣчи. Чаще другихъ, кажется, кромѣ меня, бывали въ эту пору у Плещеева—Мережковскій, Баранцевичъ, проф.

Фаусекъ, тогда еще готовившійся къ каѳедрѣ, и пріятель маститаго хозяина,—тоже маститый поэтъ,—П. И. Вейнбергъ. Посѣщали Плещеева и артисты, и въ юной компаніи начинающихъ поэтовъ часто можно было встрѣтить Стрепетову, Пасхалову, Свободина и Давыдова. Хорошее это было время, время молодыхъ, горячихъ споровъ и надеждъ, имѣющихъ свойство окрылять только юность да хозяина, которому суждено было донести душевную молодость до гроба. Вотъ здѣсь-то въ одинъ изъ зимнихъ вечеровъ привелось мнѣ встрѣтиться и познакомиться съ А. П. Чеховымъ. Молодой и красивый, съ прекрасными, задумчивыми глазами, онъ на меня съ перваго же раза произвелъ неотразимое, чарующее впечатлѣніе. Онъ жилъ тогда въ Москвѣ и пріѣзжалъ не надолго въ Петербургъ по зимамъ, гдѣ на сценѣ шли его водевили, а въ „Новомъ Времени“ печатались его разсказы. Это былъ періодъ его художественной дѣятельности, когда знакомое въ литературной средѣ имя Антоши Чехонте уступало уже въ широкой публикѣ первымъ лучамъ славы имени Антона Чехова: помню, изданные Суворинымъ „Хмурые люди“ и „Пестрые разсказы“ какъ разъ въ это время производили сенсацію. По обыкновенію мы и въ этотъ разъ засидѣлись до поздней ночи и говорили о литературѣ и общественной жизни. Чеховъ показался мнѣ мало разговорчивымъ, какимъ онъ и былъ на самомъ дѣлѣ. Говорилъ онъ охотно, но больше отвѣчалъ, не произнося, такъ сказать, монологовъ. Въ его отвѣтахъ проскальзывала иногда иронія, къ которой я жадно прислушивался, и я подмѣтилъ при этомъ одну особенность, такъ хорошо памятную знавшимъ А. П. Чехова: передъ тѣмъ, какъ сказать что-нибудь значительно-остроумное — его глаза вспыхивали мгновенной веселостью, но только мгновенной. Эта веселость потухала такъ же внезапно, какъ и появлялась, и острое замѣчаніе произносилось серьезнымъ тономъ, тѣмъ сильнѣе дѣйствовавшимъ на слушателя. Вышли мы вмѣстѣ на улицу уже послѣ ужина. Надъ

Петербургомъ стояла тихая и мягкая зимняя ночь. Намъ было по дорогѣ, и мы шли, продолжая разговоръ этого вечера на общественныя и литературныя темы. Чеховъ говорилъ о необходимости настроенія въ стихотвореніяхъ. Говорилъ онъ, волнуясь, и повторялъ, что желалъ бы быть понятенъ. Смыслъ его рѣчи былъ тотъ, что вся жизнь цѣликомъ можетъ давать содержаніе для художественной работы, которая характеризуется правдивостью настроенія изображаемаго.

— Я же ничего сегодня и не отрицалъ въ нашемъ литературномъ спорѣ,—сказалъ онъ и, остановившись, прибавилъ:—только не надо нарочно сочинять стихи про дурного городового! Больше ничего.

Мы пошли дальше вдоль тихой и пустынной улицы...

Черезъ нѣсколько дней встрѣтились мы на Николаевскомъ вокзалѣ какъ старые знакомые, совсѣмъ попріятельски. Съ Чеховымъ легко было и знакомиться и дружиться: до такой степени влекла къ нему его простота, искренность и впечатлѣніе (я не умѣю иначе выразиться) чего-то свѣтлаго, что охватывало его собесѣдника. Мы ѣхали вмѣстѣ въ Москву, весело разговаривая, выходили на станціяхъ, и шутя, пытались по внѣшнему виду опредѣлять общественное положеніе и характеръ пассажировъ. Дорогой Чеховъ уговаривалъ меня поѣхать съ нимъ въ далекое путешествіе. Онъ собирался тогда на Сахалинъ, и съ какимъ увлеченіемъ говорилъ онъ о возможности видѣть чужія, малознакомыя фантастическія страны—Индію, Японію. Вернуться предполагалъ онъ черезъ всю Сибирь, представлявшую по тогдашнему времени тоже невѣдомую землю. Особенно сильно интересовала его все-таки каторга.

— Ее надо видѣть, непремѣнно видѣть, изучить самому. Въ ней, можетъ быть, одна изъ самыхъ ужасныхъ нелѣпостей, до которыхъ могъ додуматься человѣкъ со своими условными понятіями о жизни и правдѣ,—говорилъ онъ.

И уже потомъ, много лѣтъ спустя, въ Мелиховѣ,

интересуясь громкимъ и запутаннымъ уголовнымъ процессомъ Тальмы въ Пензѣ и разспрашивая меня о вѣроятности преступленія обвиненнаго, Чеховъ говорилъ грустно:

— И вотъ сидитъ онъ теперь на Сахалинѣ—скучный и унылый, и у него вѣчная изжога отъ сырого и дурно пропеченнаго хлѣба,—кому это нужно!

Мнѣ было жаль и досадно до боли, что я не могъ согласиться на предложеніе Чехова. Обаятельная личность товарища по путешествію, возможность смѣны впечатлѣній и настроеній, широкая задача путешествія, которую ставилъ себѣ Чеховъ, — все звало меня съ нимъ... Но для меня начиналась въ это время пора земской дѣятельности и иныя надежды и ожиданія призывали меня...

Разстались мы въ Москвѣ, гдѣ я пробылъ нѣсколько дней и познакомился съ милой и привѣтливой семьей Чехова. Мы вмѣстѣ посѣщали редакціи знакомыхъ журналовъ; при посредствѣ Чехова я пріобрѣлъ нѣсколько новыхъ и милыхъ знакомствъ, чувствуя, какъ съ каждымъ днемъ его обаяніе, какъ человѣка, захватываетъ меня все больше и больше. Черезъ нѣсколько дней я уѣхалъ въ глухую провинцію, унося въ душѣ искреннюю, дружескую привязанность къ одному изъ самыхъ милыхъ людей, которыхъ я когда либо встрѣчалъ, и находясь подъ впечатлѣніемъ его огромнаго таланта. И когда на другой день полупустой и холодный вагонъ громыхалъ по пустой и холодной степи, я ни о чемъ другомъ не могъ думать, какъ объ этомъ человѣкѣ.

Прошло много времени. Мы встрѣтились опять въ Москвѣ, уже послѣ путешествія Чехова на Сахалинъ. Мѣсяца два провели мы, постоянно встрѣчаясь. Мы вмѣстѣ бывали въ театрахъ и у многочисленныхъ знакомыхъ, сошлись и подружились окончательно съ неизбѣжнымъ и традиціоннымъ брудершафтомъ. Попрежнему Чеховъ былъ молчаливымъ и необыкновенно скромнымъ человѣкомъ несмотря на свою извѣстность.

-- Былъ со мной въ Петербургѣ смѣшной случай,— разсказывалъ онъ мнѣ.—Сказали мнѣ, что Полонскій очень хотѣлъ бы со мной познакомиться и повезли меня (кажется, Лейкинъ или Голике) на одинъ изъ его журфиксовъ. Ну, пріѣхали мы, знакомимся. При знакомствахъ всегда называютъ фамиліи такъ, что ничего не разберешь. Такъ и тутъ: послышалось не то Чижовъ, не то Чеховъ. Полонскій и остальные гости не обратили на меня никакого вниманія и просидѣлъ я молча цѣлый вечеръ въ уголкѣ, недоумѣвая, зачѣмъ я понадобился Полонскому, или зачѣмъ нужно было знакомымъ увѣрять меня, что я ему интересенъ. Наконецъ, стали прощаться. Полонскому стало неловко и захотѣлось сказать мнѣ что-нибудь любезное. „Вы,— говоритъ онъ мнѣ,—все-таки меня не забывайте, захаживайте когда-нибудь, вѣдь мы съ вами, кажется, и прежде встрѣчались, вѣдь ваша фамилія Чижиковъ?“ —„Нѣтъ, Чеховъ“, сказалъ я.—„Батюшки, что же вы намъ раньше-то этого не сказали!“ закричалъ хозяинъ и даже руками всплеснулъ. „Очень смѣшное приключеніе вышло“, добродушно и конфузливо закончилъ свой разсказъ Чеховъ.

И здѣсь, во время этой московской жизни для меня особенно выяснилась основная черта чеховскаго характера—искренность, буквально не выносившая лжи, заставлявшей страдать душу художника. Лжи мелочной, подчасъ комичной, разумѣется, было не мало въ обществѣ, особенно въ отношеніи Чехова, тогда уже на всю Россію славнаго писателя и моднаго человѣка въ Москвѣ. Какъ тонко онъ отмѣчалъ неискреннія заискиванія людей сравнительно беззаботныхъ по части литературы, и какъ грустно говорилъ: „Что ему Гекуба!“ Но еще больше раздражала его ложь, касавшаяся вопросовъ и убѣжденій общественной жизни.

— Они напились, — говорилъ онъ мнѣ разъ про одну компанію,—цѣловались и пили за конституцію! Ну, ты подумай, зачѣмъ ему (онъ назвалъ фамилію) конституція, когда онъ можетъ строить свое благопо-

лучіе только въ условіяхъ политическаго рабства. Чего они лгутъ?

Кстати объ общественныхъ убѣжденіяхъ. Въ журнальныхъ статьяхъ не разъ упрекали Чехова въ индифферентизмѣ. Послѣ народнической, иногда будировавшей литературы появленіе Чехова производило впечатлѣніе жреца искусства для искусства. Съ самаго начала въ этомъ было уже крупное недоразумѣніе: статьи проглядѣли въ разсказахъ молодого писателя ту художественную правду всей русской дѣйствительности, а не отдѣльныхъ образовъ, которая съ такой силой появлялась въ первый разъ послѣ Гоголя. А такая правда для имѣющихъ очи, чтобы видѣть, стоила, разумѣется, больше поучающаго тона либеральной беллетристики. „Не надо сочинять нарочно стиховъ о плохомъ городовомъ“, говорилъ мнѣ когда-то Чеховъ, и теперь онъ повторялъ приблизительно то же самое о плохихъ беллетристическихъ вещахъ. Но зато какъ высоко ставилъ онъ покойнаго Гл. Ив. Успенскаго, котораго считалъ первоклассным художникомъ, какъ часто цитировалъ его. Впрочемъ, недоразумѣніе, о которомъ заговорилъ я, было временнымъ и какъ-то само собой растаяло по отношенію автора „Мужиковъ“ и „Въ оврагѣ“...

Писалъ и работалъ Чеховъ много. По этому поводу у него сложилось опредѣленное убѣжденіе, которое онъ мнѣ не разъ высказывалъ.

— Художникъ, — говорилъ онъ, — долженъ всегда работать, всегда обдумывать, потому что иначе онъ не можетъ жить. Куда же дѣнешься отъ мысли, отъ самого себя. Посмотри хоть на Некрасова: онъ написалъ огромную массу, если сосчитать позабытые теперь романы и журнальную работу, а у насъ еще упрекаютъ въ многописаніи.

Исходя изъ этого убѣжденія, Чеховъ нѣсколько разъ совѣтовалъ мнѣ, бросивъ общественную дѣятельность, отдаться исключительно литературной работѣ. Общественной дѣятельности въ земствѣ онъ очень сочувство-

валъ, но считалъ ее мало возможной по „независящимъ обстоятельствамъ“ и полагалъ, что для нея должны найтись люди, непричастные литературѣ. Дѣйствительно, то было въ этой области мрачное и тяжелое время, при одной мысли о которомъ я теперь содрагаюсь. И какой грустной, но прелестной и вѣрной русской дѣйствительности шуткой кажется одно мѣсто изъ письма Чехова ко мнѣ въ эту пору: „**Vive monsieur le membre de l'hôtel de zemstvo! Vive la punition corporelle pour les moujiks!** Служи безпорочно, помни присягу, не распускай мужика и, если нужно, то посѣки, всякаго нарушителя долга прощай какъ человѣкъ, но наказывай какъ дворянинъ“. А при свиданіи Чеховъ говорилъ мнѣ:

— Все это хорошо, и дай тебѣ Богъ всякаго успѣха, но по настоящему нужны не школки съ полуголоднымъ учителемъ и не аптечки, а народные университеты.

И когда я прочиталъ почти тѣ же слова, сказанныя отъ имени художника въ прелестномъ разсказѣ „Домикъ съ мезониномъ“, я не удивился, а только обрадовался...

Въ слѣдующую зиму я опять часто видѣлся въ Москвѣ съ Чеховымъ. Его успѣхъ, какъ художника, все возрасталъ. Въ провинціи съ нетерпѣніемъ ждали каждой его новой повѣсти, каждой строчки.

Интересъ къ его вещамъ былъ настолько великъ, что разговоры о новой повѣсти Чехова буквально занимали всю Россію. И дѣйствительно, нельзя было читать безъ огромнаго подъема духа что-либо написанное имъ. Геніальный художникъ завоевалъ свою родину. Въ эту зиму Чеховъ часто бывалъ въ Москвѣ, а жилъ въ своемъ небольшомъ имѣніи Мелихово, Серпуховскаго уѣзда. Не помню теперь, въ эту ли именно зиму, или въ другую Чеховъ въ Москвѣ приглашалъ меня ѣхать съ собой въ Петербургъ на первое представленіе „Чайки“ въ Александринскомъ театрѣ. Какъ сейчасъ помню, что это представленіе было назначено на 17-е октября, и Чеховъ говорилъ мнѣ:

— Поѣдемъ смотрѣть, какъ провалится моя пьеса, недаромъ ставится она въ день крушенія поѣзда.

Когда же я доказывалъ, что такая интересная и поэтическая вещь не должна провалиться, Чеховъ замѣтилъ:

— Напротивъ, должна, непремѣнно должна! Дѣло въ томъ, что большинство актеровъ играетъ по шаблону. Одинъ будетъ стараться представлять писателя, значитъ, можетъ быть, и загримируется кѣмъ-нибудь изъ извѣстныхъ литераторовъ и будетъ его передразнивать. У нихъ если на сценѣ военный, то непремѣнно поднимаетъ плечи и хлопаетъ каблуками, чего не дѣлаютъ въ жизни военные. Большой, вдохновенный талантъ — рѣдкость, а объ передачѣ настроенія моей пьесы не позаботятся.

Я не могъ поѣхать съ Чеховымъ. Пьеса провалилась на первомъ представленіи, принеся огромное и незаслуженное огорченіе автору. Мнѣ передавала потомъ сестра Чехова, Марія Павловна, что авторъ сбѣжалъ на другой день изъ Петербурга въ совершенномъ отчаяніи и проѣхалъ прямо въ Мелихово, не останавливаясь въ Москвѣ. Долгое время Чеховъ ничего не хотѣлъ слышать о постановкѣ пьесъ на сценѣ, а друзья и знакомые старались даже не заговаривать съ нимъ о приключеніи съ „Чайкой“, щадя его нервы.

Всѣ знакомые покойнаго Чехова навсегда, конечно, сохранятъ воспоминанія о Мелиховѣ. Это былъ уютный уголокъ въ Серпуховскомъ уѣздѣ съ небольшимъ помѣщичьимъ домомъ и маленькимъ садомъ. Хозяйствомъ въ имѣніи завѣдывала Марія Павловна. Тамъ встрѣчало посѣтителей радушіе Павла Егоровича и Евгеніи Яковлевны, родителей Чехова, предупредительная любезность Маріи Павловны и задушевная бесѣда самого хозяина. Чеховъ любилъ этотъ уголокъ средней Россіи, заботливо устраивалъ его обстановку, а это не легко было для него въ ту пору въ матеріальномъ отношеніи, и часто необходимый ремонтъ

производился по частямъ въ ожиданіи гонорара за написанную повѣсть. А въ денежныхъ дѣлахъ Чеховъ былъ деликатенъ до щепетильности. Въ эту пору передавалъ онъ мнѣ, какъ одинъ издатель, буквально выпросившій его разсказъ и заранѣе его рекламировавшій, вручилъ ему, наконецъ, за него какую-то до смѣшного ничтожную плату, если не ошибаюсь — 26 р.

— Вѣдь не могу же я торговаться,—говорилъ Чеховъ.—Съ большой помпой, послѣ всякихъ похвалъ, съ нѣкоторой даже таинственностью вручили мнѣ грошъ. А мнѣ надо лечиться, нужны деньги на Мелихово, а я и говорить объ этомъ не могу.

Хорошо было въ Мелиховѣ, и у гостей дѣлалось на душѣ весело уже съ того момента, когда васъ на порогѣ встрѣчалъ лай двухъ таксъ, которыхъ звали: одну—„Бромъ Исаевичъ“, а другую—„Хина Марковна“... Все было хорошо, умно и прекрасно въ жизни Чехова, кромѣ одного: художникъ былъ боленъ, боленъ чахоткой, и это было извѣстно и всѣмъ его знакомымъ, и ему самому. Это заставляло его лечиться, заботиться о гигіеническомъ образѣ жизни, отлучаться за границу, на югъ, а ему не хотѣлось думать о самомъ себѣ, возиться съ самимъ собой, его интересовала окружавшая жизнь, а суть его собственной жизни составляло творчество, для котораго нужно было беречь здоровье... Случалось мнѣ посѣщать Мелихово и лѣтомъ, когда оно было еще лучше и еще уютнѣе, чѣмъ зимой. Маленькій, хорошо ухоженный садъ съ массой цвѣтовъ, небольшой рабочій домикъ, построенный въ саду, гдѣ подолгу разговаривалъ съ своими гостями и работалъ Чеховъ, разговоръ о томъ деревенскомъ хозяйствѣ, которымъ завѣдывала въ безконечныхъ хлопотахъ Марія Павловна,— все это заставляло гостя засиживаться лишній день въ Мелиховѣ и уѣзжать неохотно. Пріятно было бродить въ окрестностяхъ усадьбы, разговаривая съ хозяиномъ, или сидѣть на берегу маленькаго пруда, про который Че-

ховъ говорилъ, что у него тамъ караси, но что онъ намѣренъ дать имъ конституцію... Однажды, въ августѣ или началѣ сентября Чеховъ сказалъ мнѣ, что я пріѣхалъ какъ разъ во-время, чтобы присутствовать при освященіи только что выстроенной школы, которой онъ былъ попечителемъ. Онъ познакомилъ меня съ учительницей, молодой дѣвушкой, если не ошибаюсь, кончившей курсъ въ Серпуховской гимназіи, много шутилъ, называя меня чужимъ инспекторомъ народныхъ училищъ и начальствомъ, и былъ необыкновенно оживленъ и веселъ. Тутъ же обратилъ онъ мое вниманіе на мѣстнаго крестьянина, послужившаго прототипомъ для старосты въ „Мужикахъ“ и указывалъ на своеобразную колоритность его рѣчи. Послѣ мы разговорились о тяжеломъ положеніи народныхъ учителей и учительницъ, и я увидѣлъ впослѣдствіи нѣкоторыя черты этого положенія въ художественной правдѣ небольшого разсказика „На подводѣ“... Чеховъ вообще необыкновенно хорошо и мягко относился къ окружавшимъ его людямъ, а крестьянамъ Мелихова помогалъ, чѣмъ могъ и какъ могъ.

Очень грустилъ Чеховъ, что приходится разставаться съ Москвой и средней Россіей, которую онъ такъ любилъ, и перебираться по обыкновенію на зиму въ Крымъ. „Ничего не подѣлаешь, ничего не подѣлаешь“, грустно повторялъ онъ и звалъ меня навѣстить его этой зимой въ Крыму. Мнѣ, однако, не удалось его видѣть этой зимой, а весной, когда онъ пріѣхалъ въ Москву, онъ попалъ въ больницу съ обострившейся болѣзнью. Выписавшись оттуда, онъ извѣстилъ меня въ нѣсколькихъ строкахъ, что здоровье его совсѣмъ плохо и что онъ продаетъ свои сочиненія Марксу за 75 тысячъ, что это дѣло рѣшенное, и ихъ уже окончательно устроилъ С. Разумѣется, эта продажа была не особенно выгодной для Чехова, но въ ту пору, при необходимости устроить себѣ удобный пріютъ въ Крыму, можетъ быть, неизбѣжной. Дача въ Крыму, въ Ауткѣ, около Ялты, была дѣй-

ствительно построена превосходная. И самъ Чеховъ, и Марія Павловна заботливо внесли въ нее много изящества и уюта. Попрежнему тамъ воцарилось радушіе и ласка Чехова и его семейства. Только не было уже отца Антона Павловича: онъ скончался раньше и похороненъ въ Москвѣ. Но самъ Чеховъ не могъ помириться съ насильственной необходимостью жить вдали отъ Россіи. Привожу выдержку изъ письма Чехова въ то время, когда онъ устраивалъ свою дачу:

„Большое тебѣ спасибо, что вспомнилъ и прислалъ письмо... Я въ Ялтѣ, повидимому, поселюсь здѣсь и уже строю себѣ дачу для зимовокъ, и уже приглашаю къ себѣ пріятелей и друзей, и даю при этомъ клятву, что въ своей крымской дачѣ я не буду заниматься винодѣліемъ и поить своихъ друзей краснымъ мускатомъ... Зимою я буду жить въ Ялтѣ, лѣтомъ же, начиная съ апрѣля, въ Серпуховскомъ уѣздѣ, въ Мелиховѣ. Итакъ, пріѣзжай въ Мелихово, тамъ, обѣдая, я приглашу тебя въ Крымъ. Караси мои здравствуютъ и уже настолько созрѣли, что хочу дать имъ конституцію. Здоровье мое довольно сносно; все еще не женатъ и все еще не богатъ, хотя Марксъ и купилъ мои произведенія за 75 тысячъ. Возникаетъ вопросъ: гдѣ деньги? Ихъ не шлютъ мнѣ, и, повидимому, мой повѣренный С. пожертвовалъ ихъ на какое-нибудь доброе дѣло или, по совѣту Л. Н. Толстого, бросилъ ихъ въ печь... Не забывай, пиши, пожалуйста, пиши, памятуя, что живу я въ чужой сторонѣ не по своей волѣ и сильно нуждаюсь въ общеніи съ людьми, хотя бы письменномъ“.

Въ другомъ письмѣ, присланномъ мнѣ уже тогда, когда Чеховъ окончательно устроился въ Ялтѣ, звучитъ такая же грусть по Россіи:

„Я все въ той же Ялтѣ. Пріятели сюда не ѣздятъ, снѣгу нѣтъ, саней нѣтъ, нѣтъ и жизни. Cogito, ergo sum и кромѣ этого cogito нѣтъ другихъ признаковъ жизни... Вообще напиши подробнѣе, дабы я имѣлъ основаніе считать тебя добрымъ человѣкомъ“.

А когда я навѣстилъ Чехова въ Крыму, онъ говорилъ мнѣ:

— Тебѣ нравится моя дача и садикъ, вѣдь нравится? А между тѣмъ это моя тюрьма, самая обыкновенная тюрьма, вродѣ Петропавловской крѣпости. Разница только въ томъ, что Петропавловская крѣпость сырая, а эта сухая.

Чеховъ долго не могъ примириться съ жизнью „не по своей волѣ“ на югѣ, но въ концѣ-концовъ полюбилъ свою дачу, о которой много заботился. Онъ цѣнилъ очевидно результаты своихъ трудовъ. И когда, незадолго передъ его кончиной, Марія Павловна призналась ему, что и она долго не могла примириться съ Ялтой и неизбѣжной потерей Мелихова, а теперь ей здѣсь все дорого, Чеховъ грустно замѣтилъ:

— Вотъ такъ не любя замужъ выходятъ. Сначала не нравится, а потомъ привыкаютъ!

И не смотря на болѣзнь, которая то усиливалась, то улучшалась настолько, что усыпляла опасенія окружавшихъ,—Чеховъ работалъ, работалъ, работалъ... Поистинѣ это былъ огромный художникъ, смыслъ существованія котораго состоялъ въ творчествѣ... Въ послѣдній разъ мы видѣлись въ Москвѣ, куда онъ всегда стремился при первой возможности, и здоровье его еще не говорило о такой близкой опасности...

Осенью прошлаго 1904 года я посѣтилъ Новодѣвичье кладбище. Былъ тихій и теплый солнечный день. У небольшого могильнаго холмика, подъ которымъ покоится прахъ Чехова, стояла толпа молодежи: студенты, курсистки. На холмикѣ лежали увядшіе цвѣты и вѣнки изъ живыхъ, тоже увядшихъ цвѣтовъ. Тутъ же лежалъ и совсѣмъ свѣжій, только что кѣмъ-то положенный букетикъ. Я зналъ, что не только этотъ могильный холмикъ, отнынѣ дорогой для всей Россіи, остался отъ Чехова.

Остались сочиненія, которыя безконечно долго будутъ давать наслажденіе людямъ; по этимъ сочиненіямъ будутъ изучать современную Чехову жизнь.

Осталась и та слава, которая по смерти писателя дѣлается славой его родной стороны.

Чеховъ умеръ рано, въ самый разгаръ своего творчества и могъ бы написать еще много. Но и того, что онъ сдѣлалъ, слишкомъ достаточно, чтобы оправдать и исчерпать смыслъ жизни огромнаго художника. Все это я зналъ, и въ этихъ мысляхъ искалъ утѣшенія. Вѣрныя сами по себѣ, онѣ однако не могли принести утѣшенія: передо мной вставалъ образъ умнаго, добраго, безконечно правдиваго человѣка, осѣненный тѣмъ могучимъ и невѣдомымъ, что принято называть талантомъ. Было мучительно грустно и жаль, безконечно жаль человѣка въ лучшемъ смыслѣ этого слова...

А. П. Чеховъ.

А. Федоровъ.

А. П. Чеховъ.

Весною нынѣшняго года, какъ разъ наканунѣ Пасхи, я подходилъ къ двери дачи А. П. Чехова въ Ялтѣ.

День былъ теплый, но облачный, тяжеловатый. Собирался дождь и его ждали еще не вполнѣ распустившіяся деревья въ садикѣ, посаженномъ руками самого А. П. Чехова. Хромой журавль грустно разгуливалъ по двору, поворачивая во всѣ стороны красивую голову на тонкой шеѣ, точно все еще надѣялся увидѣть своего хозяина, который когда-то вылѣчилъ его переломленную ногу и пріютилъ у себя.

На двери все еще виднѣлась мѣдная дощечка и на ней черныя буквы: *А. П. Чеховъ*,—все, какъ годъ тому назадъ, когда я въ это же самое время подходилъ къ этой двери.

Но самаго А. П. уже не было и потому все: домъ, деревья, журавль,—казалось не тѣмъ, что тогда, точно душа отлетѣла не только отъ нихъ, но и отъ всей окружающей природы.

Живымъ напоминаніемъ о немъ являлась, однако, его семья, въ первый разъ послѣ смерти А. П. пріѣхавшая въ Ялту: Евгенія Яковлевна (мать А. П.) братъ его Иванъ Павловичъ и Марія Павловна — сестра.

Въ этихъ родныхъ ему, безконечно милыхъ и симпатичныхъ лицахъ я видѣлъ дорогія Россіи черты А. П., его улыбку, голосъ, манеры, особенности его характера. Конечно, это были намеки, отблески, — но они освѣжали въ памяти то обаяніе, которое такъ знакомо всѣмъ, мало-мальски знавшимъ Антона Павловича.

Этому содѣйствовала и вся обстановка, среди которой я видѣлъ его въ послѣдній разъ: его кабинетъ съ окномъ на море, съ каминомъ, украшеннымъ картиной Левитана, и простымъ письменнымъ столомъ; спальня, откуда все еще попахивало лѣкарствами; столовая, гдѣ помню, мы обѣдали большой товарищеской компаніей среди его семьи, въ то время, какъ А. П. то и дѣло вставалъ изъ-за стола, прогуливался взадъ и впередъ, шутилъ и снова опускался на стулъ, чтобы чуть чуть притронуться къ какому-нибудь блюду.

Но скорбь какъ бы замерла навсегда теперь во всѣхъ предметахъ, скорбью о немъ проникнуты былъ черты обожавшихъ его родныхъ лицъ, скорбью звучали голоса и вздохи.

И казалось, его свѣтлая, кроткая тѣнь стояла здѣсь и говорила:

„О, Боже мой! пройдетъ время, и мы уйдемъ навѣки, насъ забудутъ, забудутъ наши лица, голоса и сколько насъ было, но страданія наши перейдутъ въ радость для тѣхъ, кто будетъ жить послѣ насъ, счастье и миръ настанутъ на землѣ, и помянутъ

добрымъ словомъ и благословятъ тѣхъ, кто живетъ теперь".

Возвратившись домой, я перечиталъ воспоминанія объ А. П., написанныя послѣ его смерти мною. Многое въ нихъ показалось мнѣ теперь лишнимъ, да и все въ общемъ—такимъ слабымъ и блѣднымъ, сравнительно съ тѣмъ, что хотѣлось сказать, но какъ то жаль стало перерабатывать ихъ заново и я посылаю ихъ вамъ, какъ они вмѣстѣ со слезами вырвались у меня тогда, при извѣстіи о смерти любимаго писателя.

I.

Еще болитъ сердце и въ душѣ кипятъ слезы. Ну, что тутъ напишешь! А нельзя не написать хоть нѣсколько словъ. Какъ при прощаньи съ безконечно дорогимъ и близкимъ человѣкомъ, нельзя хоть сквозь рыданья не крикнуть того, что рвется изъ души.

Милый Антонъ Павловичъ! Эта рука, которую онъ такъ дружески протягивалъ намъ, молодымъ писателямъ, и всѣмъ, кто шелъ къ нему за совѣтомъ и помощью, недвижима, мертва; она не напишетъ уже больше ни одной изъ тѣхъ строкъ, въ которыхъ такъ чудесно слышался его проникающій въ сердце голосъ, свѣтилась его тихая грустная улыбка, полная тоски и состраданія, горечи и вмѣстѣ съ тѣмъ — мистически-торжественной надежды!

— Мнѣ кажется, что въ моемъ домѣ нынче покойникъ!—сквозь слезы вырвалось у одной моей знакомой, когда она узнала о смерти Чехова.

Этимъ — все сказано.

Да, въ каждомъ домѣ, гдѣ чувствуется хоть какой-нибудь трепетъ живой и чуткой мысли, въ эти дни будетъ казаться, что тутъ, рядомъ, покойникъ. Никто не стоялъ къ современной мысли, къ современному чувству ближе, чѣмъ А. П. Чеховъ. Это былъ тонкій

нервный узелъ, въ которомъ отзывались малѣйшія вибраціи нашей души, и наша боль безсилія, и негодованіе на невозмутимую, тяжелую и недвижную, какъ каменная гора, пошлость, которая давитъ и гнететъ всѣхъ, кто не сливается съ нею.

Въ минуты одиночества и холоднаго ужаса передъ топкой мутью жизни, онъ входилъ къ намъ и тихо начиналъ намъ объяснять и эту жизнь, и насъ самихъ — въ живыхъ, до осязанія ясныхъ образахъ и картинахъ. Онъ заставлялъ насъ улыбаться и вѣрить въ торжество ума надъ тупостью, правды надъ ложью. И намъ, какъ студенту въ одномъ изъ его разсказовъ, начинало казаться, что „правда и красота, направлявшія человѣческую жизнь тамъ, въ саду, во дворѣ первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное въ человѣческой жизни, — и невыразимо сладкое ожиданіе счастья, невѣдомаго, таинственнаго счастья, овладѣвало, мало-по-малу, и жизнь казалась восхитительной, чудесной и полной высокаго смысла“.

Только люди, глухіе сердцемъ, не выносятъ изъ чеховскихъ произведеній этого трогательнаго и чистаго впечатлѣнія. Они и въ печати даже укоряли Чехова, что онъ не бьетъ въ турецкій барабанъ и не кричитъ—„впередъ“. Они не желали знать, что онъ раскрываетъ ужасы жизни и мрака, отъ которыхъ человѣкъ поневолѣ долженъ обратиться къ свѣту, если постигнетъ и пойметъ ихъ. А Чеховъ только и дѣлалъ, что съ поразительной ясностью открывалъ все это и тѣмъ указывалъ ясные пути.

Я вспомнилъ это не потому, что хочу что-то доказать тѣмъ, кто не понималъ и не цѣнилъ Чехова— Богъ съ ними!.. Имъ и самимъ, если не стало, то скоро станетъ стыдно этихъ дикихъ упрековъ. Написалъ я это потому, что вспомнилъ, какъ Антонъ Павловичъ прошлой весной, на пасху, въ Ялтѣ, съ горечью жаловался, что слишкомъ поздно ему улыбнулся успѣхъ, что много силъ растрачено по-

напрасну въ упорной и жестокой борьбѣ за существованіе.

— И теперь обо мнѣ Богъ знаетъ, что пишутъ, а когда я выпустилъ свою первую книгу, — одинъ извѣстный критикъ (онъ назвалъ намъ его фамилію) прямо-таки писалъ, что судьба такихъ забавниковъ-писателей, какъ я,—умереть подъ заборомъ.

Это было въ солнечный день; синѣло море, лиловыя горы дымились, какъ алтарь; маленькій садикъ, который собственными руками насадилъ Чеховъ около своей дачи (онъ гордился каждымъ кустикомъ тамъ, кажется, больше, чѣмъ любымъ своимъ разсказомъ), свѣжо и молодо распустилъ свою кудрявую зелень и грѣлся въ весеннемъ теплѣ, а Антонъ Павловичъ кутался въ ватное пальто: его вѣрно немного лихорадило, и весеннее тепло не могло согрѣть этого исхудавшаго, слабаго тѣла. Оно утратило свое здоровье и крѣпость. Казалось, также не могъ уже согрѣть его и этотъ поздно пришедшій успѣхъ.

И мнѣ тутъ же вспомнился еще одинъ случай:

Въ февралѣ 1901 года Антонъ Павловичъ былъ въ Одессѣ на возвратномъ пути изъ Флоренціи въ Ялту. Мы сидѣли въ Лондонской гостиницѣ и онъ, волнуясь и покашливая, разсказывалъ возмутительную исторію съ нимъ въ Одесской таможнѣ.

Таможенный чиновникъ забралъ его портфель съ письмами. Нѣкоторыя полученныя имъ письма Антонъ Павловичъ, всегда любившій порядокъ, запаковалъ въ конверты. Чиновникъ сталъ разрывать конверты, чтобы убѣдиться въ легальности содержимаго.

Чеховъ возмутился. Еще больше возмутился его спутникъ.

— Вѣдь вы грамотный человѣкъ!—пробовалъ тотъ урезонить чиновника.—Это Чеховъ, Антонъ Павловичъ Чеховъ, писатель. Кажется, можете повѣрить ему.

— Не знаю, грамотны ли вы, но я кончилъ университетъ!—съ апломбомъ заявилъ чиновникъ. — Для меня служба выше всякихъ Чеховыхъ!

Но, очевидно, чиновникъ этотъ понималъ службу по своему, потому что начальство, бывшее чиномъ повыше этого господина, заявило, что эти пакеты останутся неприкосновенны.

— Непремѣнно надо будетъ разсказъ написать. — сказалъ въ заключеніе Антонъ Павловичъ. — Очень ужъ это характерна у насъ наклонность всякаго такого ничтожества поизмываться надъ безпомощнымъ человѣкомъ и показать свою власть.

Скоро, за столомъ, за тихой бесѣдой эта наклонность поизмываться была забыта.

II.

Я собрался уходить.

— Куда вы? Постойте... Или вотъ что, пойдемте вмѣстѣ, пройдемся по городу. Я, кстати, куплю матушкѣ подарокъ. Пойдемъ,—обратился онъ къ своему спутнику.

— Погода скверная. Я и вамъ, Антонъ Павловичъ, не совѣтую.

— Нѣтъ, я пойду. Что тамъ на погоду еще обращать вниманіе! Къ тому-же я боюсь дома сидѣть.

— Чего?

— Да вотъ, въ газетахъ ужъ напечатали, что я здѣсь. Интервьюеры ужъ навѣдывались. Не люблю я этого. А потомъ, пожалуй, барышня прійдетъ спрашивать, какъ жить надо, а я и самъ не знаю. А то гимназисты любятъ къ писателямъ ходить совѣтоваться — на счетъ самоубійства. Ужасно пріятно въ 16—17 лѣтъ думать о самоубійствѣ.

— А дамы съ драмой? напомнилъ я ему.—У насъ ихъ въ Одессѣ милліонъ.

И я разсказалъ ему, какъ ко мнѣ пришла одна такая дама и на вопросъ, какая у нея пьеса, оригинальная, или переводная, отвѣтила: „Нѣтъ, совсѣмъ обыкновенная“. Я разсказалъ ему все это въ лицахъ.

Онъ засмѣялся своимъ трогательнымъ, заразительнымъ смѣхомъ. Сейчасъ, вспоминая этотъ смѣхъ, смѣхъ отъ души, я вижу передъ собой лицо Антона Павловича, слышу его глуховатый голосъ. Вотъ онъ знакомымъ уже движеніемъ пальца сбрасываетъ съ носа пенснэ и говоритъ: „А ну васъ!“ Какъ удивительно согласовалось въ немъ все съ его произведеніями. Сколько ума, грусти и доброты было въ его улыбкѣ и въ низкихъ нотахъ его искренняго смѣха!

И всѣ такъ любили этотъ смѣхъ, что пользовались всѣмъ, чтобы вызвать его у Антона Павловича. Кромѣ того, невольно хотѣлось развеселить эти грустные тихіе глаза, въ которыхъ такъ много было личной печали человѣка, приговореннаго къ смерти, и тоски за жизнь, которую онъ видѣлъ до дна.

Особеннымъ мастеромъ на это былъ И. А. Бунинъ. Когда истощался личный запасъ юмора, Бунинъ читалъ Чехову его собственные юмористическіе разсказы, и Антонъ Павловичъ смѣялся такъ, какъ будто это были чужія произведенія. Между прочимъ, онъ говорилъ, что только про прошествіи двухъ лѣтъ можетъ сказать, хорошо или дурно то, что онъ написалъ. Этимъ объяснялось и то, что онъ просилъ меня достать рецензію о „Трехъ сестрахъ“, хотя не весьма довѣрялъ критикѣ.

— Не знаешь, за что и откуда ударятъ, — объяснялъ онъ.—Въ особенности за пьесы. Это вѣдь ужасно какъ страшно, — пьесу ставить. Тутъ и публика, и актеры, и погода, и именинники,—все путается.

Онъ никогда не могъ забыть провала перваго представленія „Чайки“ и, вообще, первыхъ неуспѣховъ съ пьесами. Впрочемъ, говорилъ онъ теперь объ этомъ безъ горечи, еще менѣе было злобы въ его воспоминаніяхъ. Съ улыбкой разсказывалъ онъ, какъ извѣстный В. А. Крыловъ, послѣ того, какъ театрально-литературный комитетъ при Императорскихъ театрахъ забраковалъ „Иванова“, — предложилъ Чехову поправить его пьесу.

— Онъ очень удивился, когда я отказался. Вы, говоритъ, еще молодой авторъ, неопытны... Потомъ ужъ у Корша я ее поставилъ.—Вамъ сколько лѣтъ?— перемѣнивъ тонъ, обратился ко мнѣ Чеховъ.

— Тридцать два.

— Вотъ и мнѣ тогда было тоже тридцать два года.

Онъ пристально посмотрѣлъ на меня, какъ будто вспоминая то прошлое, когда онъ еще былъ здоровъ, и улыбнулся.

— Вѣдь это тоже ваша первая пьеса „Буреломъ“?

— Первая.

— Смѣшно было, когда играли? Какъ будто чужія слова говорятъ. Правда?

— Да.

— И всегда не то кажется, какъ-бы хорошо ни играли. Мнѣ въ Художественномъ театрѣ только „Дядя Ваня“ моимъ и показался. Особенно второй актъ.

— А вы теперь пишете что нибудь, Антонъ Павловичъ?

Чеховъ не любилъ такихъ вопросовъ. Онъ даже какъ-бы нѣсколько суевѣрно относился къ этому: непремѣнно,—молъ,—не удастся, если кому-нибудь разскажешь.

Онъ отвѣтилъ уклончиво:

— Да, пишу кое-что. Я всегда пишу. — Вы много работаете?

Я отвѣтилъ.

— Надо много работать! — внушительно понижая голосъ, заговорилъ онъ. — Каждый день непремѣнно надо работать. Я прежде писалъ каждый день по разсказу. Потомъ ужъ привычка явится. — Посмотришь на жизнь, на людей... Потомъ гуляешь гдѣ нибудь, хоть въ Ялтѣ по набережной, вдругъ пружинка въ головѣ „чикъ“, и готовъ разсказъ.

И онъ съ улыбкой сталъ разсказывать о своемъ прошломъ, о тѣхъ годахъ, когда онъ работалъ для юмористическихъ журналовъ, вспоминалъ разные курь-

езы и иногда прерывалъ свой разсказъ добродушнымъ смѣхомъ, полнымъ грусти и сожалѣнія.

— Ужасно мнѣ тогда мало платили, — говорилъ онъ: копѣекъ по 5, по 6 со строчки. Рублей 8—10 за разсказъ, и это очень долго продолжалось. Потомъ стали набавлять.

Именно, стали „набавлять". Самъ Чеховъ никогда не торговался и не назначалъ платы. Сколько давали, столько и бралъ.

— Да что! смѣясь, воскликнулъ онъ, — со мной недавно была исторія. Обратился ко мнѣ издатель одного дѣтскаго журнала. Далъ я ему разсказъ. Напечаталъ. Потомъ на одномъ юбилеѣ встрѣчаюсь съ нимъ, денегъ у меня было мало, а тутъ всѣ угощаются. Вижу, онъ ко мнѣ съ распростертыми объятіями и конвертъ въ рукахъ. Ну же я и обрадовался. Благодаритъ. Проситъ и впредь не оставлять его журнала и деликатно такъ конвертъ прямо въ карманъ мнѣ.

Я даже не посмотрѣлъ въ первую минуту. Посиживаю себѣ. Съ деньгами то на душѣ свѣтло, какъ въ ресторанной залѣ. А пришло время расплачиваться, я за конвертъ. Разрываю—двадцать рублей. А разсказъ порядочнаго размѣра былъ. Вотъ же я смѣялся! „Будильникъ" мнѣ это напомнило.

Мнѣ это, однако, было не смѣшно. Еще туда-сюда, если бы издатель былъ бѣднякъ, а то вѣдь—богатый человѣкъ. Заплатить Чехову двадцать рублей за разсказъ! Но самое интересное было въ этой исторіи заключеніе.

— Я было ему отдать хотѣлъ назадъ эти двадцать рублей, да неловко, обидѣлся бы, пожалуй, — переставъ смѣяться, закончилъ Антонъ Павловичъ.

Мы часа полтора бродили по городу, заходили въ магазины, покупали что-то... Проходя мимо писчебумажныхъ магазиновъ, Антонъ Павловичъ останавливался у оконъ.

— Ужасно какъ люблю писчебумажные магазины,— говорилъ онъ.—Зайдемъ.

Заходили и онъ покупалъ бумагу.

— Это моя страсть,— посмѣивался Антонъ Павловичъ.—Люблю бумагу и жаденъ на нее. Лучше цѣлковый дамъ, чѣмъ листокъ бумаги. А когда письма я получаю, всегда чистый листокъ отрываю и складываю. Хорошо писать на нихъ.

Антонъ Павловичъ въ этотъ день чувствовалъ себя, повидимому, легко и иногда говорилъ что-нибудь въ родѣ:

— А знаете, тотъ господинъ, который продавалъ намъ игольникъ, онъ, должно быть, ужасно какъ любитъ въ шашки играть.

И всюду,— на улицѣ, въ магазинахъ, въ редакціяхъ, — мнѣ, рядомъ съ Чеховымъ, казалось, что передъ глазами моими — чеховскія картины, чеховскія сцены и лица. Онъ все зналъ, все видѣлъ и все умѣлъ передать и освѣтить. Этотъ блѣдный, худощавый, спокойный человѣкъ въ дешевой круглой шапочкѣ и староватомъ пальто, носилъ въ себѣ великую тайну творчества, могущество проникновенной мысли, которая видѣла подноготную жизни, угадывала за ея стертыми, обуднѣвшими чертами ея душу съ мельчайшими изгибами. Онъ все зналъ и зналъ не поверхностно, а основательно. Если онъ писалъ о сапожникѣ, онъ никогда не могъ написать, что тотъ сидѣлъ на скамейкѣ, или еще какъ-нибудь, а писалъ, что онъ сидѣлъ „на липкѣ", а ремень, которымъ сапожника били, когда онъ былъ мальчикомъ, назывался „шпандырь".

— Я всегда прежде, когда былъ здоровъ, въ третьемъ классѣ ѣздилъ,—говорилъ Чеховъ,—это интереснѣе. Во второмъ больше курятъ, да въ окна смотрятъ, въ первомъ — въ карты играютъ и пейзажами любуются.

Я проводилъ Чехова до гостиницы. Тутъ мы узнали, что у него за время его отсутствія успѣли уже побывать одесскіе поклонники. Между прочимъ, хотѣли устроить ему обѣдъ. Чеховъ даже испугался послѣдней затѣи.

— Нѣтъ, не люблю я этого, не надо. Пожалуй, еще краснымъ виномъ напоятъ. А вы вотъ что,—обратился онъ ко мнѣ, — приходите вечеромъ, непремѣнно же приходите. Да нѣтъ ли здѣсь еще кого нибудь изъ молодыхъ писателей?

Я назвалъ Куприна.

— Ну вотъ, и его приводите съ собою.

Вечеромъ мы съ Купринымъ были у Чехова. Купринъ былъ также сразу захваченъ его личностью, этимъ обаяніемъ доброты, мысли и печали, которое шло отъ Чехова къ тѣмъ, къ кому онъ чувствовалъ расположеніе. Цѣлый вечеръ прошелъ въ самой живой бесѣдѣ. Антонъ Павловичъ все время ходилъ взадъ — впередъ по діагонали маленькаго номера, смѣялся, покашливалъ, и слушалъ, и разсказывалъ самъ. Онъ говорилъ коротко, иногда просто намекомъ въ нѣсколько словъ, сравненіемъ, двумя-тремя чертами. О своемъ дѣтствѣ разсказывалъ. Много говорилъ о молодыхъ писателяхъ.

Между прочимъ, упомянулъ о покойномъ М. Е. Зміенко, книга разсказовъ котораго съ моимъ предисловіемъ вышла не за долго передъ тѣмъ, послѣ смерти автора.

— Онъ былъ талантливый человѣкъ.—сказалъ Чеховъ.– Жаль его.

— Да, жаль. Никто его не знаетъ. Книгу не покупаютъ. Критика ни слова не говоритъ объ немъ.

— Печатался мало и все въ газетахъ. Жаль, жаль...—Вотъ еще тоже интересная книга! — вспомнилъ Антонъ Павловичъ: и тоже нигдѣ не пишутъ объ ней и никто ее не знаетъ... Изъ монастырской жизни разсказы.

Теперь уже я не помню хорошенько, но кажется, фамилія автора была Данилинъ, при чемъ Чеховъ увѣрялъ, что это псевдонимъ, что авторъ, навѣрное, женщина.

— Женская рука чувствуется... Такъ пріятно читать.

Каждымъ молодымъ дарованіемъ Чеховъ очень интересовался, разыскивалъ вездѣ, поддерживалъ своими совѣтами, указаніями. Онъ зналъ по себѣ, какъ тяжело въ молодости работать безотзывно, и съ особенною ласковостью, чуткостью и вниманіемъ, какъ старшій братъ, протягивалъ свою руку и въ случаяхъ неудачи говорилъ:

— Это ничего, знаете. Это даже хорошо. Заставляетъ строже относиться къ себѣ. Надо только работать какъ можно больше.

Съ отвращеніемъ на дняхъ прочелъ я строки какого-то автора, якобы передающаго слова Чехова о Бальмонтѣ, только какъ о какомъ-то фокусникѣ, умѣющемъ нанизывать ловко слова. Чеховъ такъ бережно, почти свято относился къ каждому дарованію, что никогда не могъ сказать ничего подобнаго. Да я и не разъ слышалъ, какъ онъ именно о Бальмонтѣ говорилъ:

— Это талантливый поэтъ. Что тамъ говорить!

Иногда, среди оживленной бесѣды, лицо Чехова какъ-то вдругъ становилось сосредоточеннымъ, даже нѣсколько разсѣяннымъ. Казалось, что въ это время внутри его затворялись двери и тамъ, за этими дверями шла своя работа. Такъ проходила минута, другая. Собесѣдники поневолѣ замолкали, боясь нарушить его настроеніе. Но онъ вдругъ это замѣчалъ, останавливался посреди комнаты, и медленно надѣвая пенснэ, всматривался въ сидящихъ, а потомъ, совершенно неожиданно говорилъ, обращаясь къ кому-нибудь изъ насъ:

— Купите у меня сюжетъ разсказа. Дешево уступлю. Особенно же, если оптомъ. У меня нѣсколько книжекъ записныхъ съ сюжетами.

Говорилось это съ такой шутливой серьезностью, что мы при этой неожиданной выходкѣ разражались смѣхомъ, и самъ онъ, сбрасывая пенснэ, смѣялся вмѣстѣ съ нами.

III.

На другой день Чеховъ уѣзжалъ изъ Одессы въ Ялту.

Мы пріѣхали на пароходъ проводить его.

Былъ сѣрый февральскій день. „Чеховскій“ день. Въ сыромъ воздухѣ чувствовалось смутное раздраженіе отъ близости весны, какъ бы предчувствіе ея, не смотря на ненастье. Волны холодно и тяжело дышали у гранитной набережной, чуть-чуть покачивали шлюпки и терлись у высокихъ облѣзлыхъ бортовъ парохода.

— Антонъ Павловичъ, шли бы вы внизъ, погода отвратительная.

— Не пойду.

— Не бережете вы себя.

— Еслибы я не берегся, давно бы меня на свѣтѣ не было, а я еще лѣтъ десять проживу. — спокойно отвѣтилъ Антонъ Павловичъ.

— Я знаю, на то я и докторъ.

Антонъ Павловичъ любилъ иногда помянуть о томъ, что онъ докторъ и, повидимому, относился къ этому званію своему довольно ревниво.

Онъ остался на палубѣ. Какъ разъ въ этотъ день, на томъ же пароходѣ ѣхалъ съ своимъ дрессированнымъ звѣринцемъ въ Севастополь клоунъ Дуровъ, и Чеховъ, взявъ за руку моего трехлѣтняго мальчика, отправился съ нимъ смотрѣть звѣрей. Я видѣлъ, какъ онъ серьезно наклонялся къ ребенку, бесѣдуя съ нимъ и иногда улыбаясь сквозь усы трогательною, ласково-грустной улыбкой. Онъ очень любилъ дѣтей, и когда этотъ мальчикъ отошелъ отъ него на минуту и сталъ съ любопытствомъ заглядывать черезъ бортъ, Чеховъ поспѣшилъ къ нему вмѣстѣ съ матерью ребенка.

— Боитесь, чтобы онъ въ море не упалъ? — обратился къ ней Чеховъ.

— Да.

— А если бы упалъ?

— Я бы бросилась за нимъ.

— И я бы тоже бросился, — тихо и спокойно замѣтилъ Антонъ Павловичъ и, положивъ руку на плечо мальчика, отвернулся и не сказалъ больше ничего.

Тонъ, которымъ произнесъ онъ эти слова, былъ такъ простъ и искрененъ, что не оставалось никакого сомнѣнія въ томъ, что онъ именно такъ бы и поступилъ, какъ сказалъ.

Его слова тронули насъ всѣхъ и не столько потому, что этотъ больной человѣкъ способенъ былъ на такой подвигъ, сколько потому, что за ними почувствовалась глубокая, тихая, какъ осенній вечеръ, грусть одиночества.

Въ эту минуту на пристани происходила забавная сцена: нѣсколько человѣкъ, во главѣ съ самимъ Дуровымъ, старались ввести на пароходъ верблюда.

Огромное неуклюжее животное упиралось и не желало вступить на скользкіе отъ сырости мостки. Ни соблазны, ни уговоры, ни угрозы, ни даже насиліе— не помогали. Верблюдъ упорно тяготѣлъ къ землѣ и, сдѣлавъ два-три движенія впередъ, поворачивалъ обратно.

Антонъ Павловичъ схватилъ мальчика за руку.

— Смотри, смотри! Вотъ потѣха-то! Вотъ потѣха-то!—повторялъ онъ, съ любопытствомъ слѣдя за этой борьбой.—Не пойдетъ! Ни за что не пойдетъ!

Мальчикъ смѣялся. Чеховъ смѣялся вмѣстѣ съ нимъ, повидимому, совсѣмъ забывъ его руку въ своей рукѣ.

Когда, наконецъ, съ верблюдомъ рѣшили распорядиться при помощи лебедки и, подхвативъ его, подняли на воздухъ, Антонъ Павловичъ разразился такимъ заразительнымъ смѣхомъ, что всѣ вокругъ стали вторить ему.

Верблюдъ, безпомощно растопыривъ свои длинныя ноги, вытянувъ симпатичную уродливую голову съ ра-

стерянными глазами, до крайности смѣшной фигурой рисовался на фонѣ сѣраго облачнаго неба.

— Вѣдь создастъ же Господь этакую образину! — сквозь смѣхъ вырвалось у Чехова.— Ну и потѣха!

— А знаете,—обратился онъ ко мнѣ,—верблюдъ потому такъ насмѣшилъ насъ, что онъ — симпатичный, хоть и уродъ. Потому и ребенокъ смѣялся, что верблюдъ ужасно симпатичный.

Дуровъ, узнавъ, что этотъ смѣявшійся скромный человѣкъ—А. П. Чеховъ, чтобы доставить ему удовольствіе, заставилъ свою собаченку Запятайку продѣлывать разные фокусы. Я вспомнилъ чеховскую „Каштанку". Казалось, что и въ этой „Запятайкѣ", и въ смѣшномъ симпатичномъ уродѣ верблюдѣ, и въ каждомъ изъ тѣхъ звѣрей, которыхъ Чеховъ разсматривалъ съ моимъ мальчикомъ, онъ видѣлъ ихъ индивидуальность. Онъ ко всему присматривался съ тонкимъ вниманіемъ, всюду замѣчалъ свои особенности, свою душу. Его таланта хватало на все и на всѣхъ, потому что онъ каждымъ нервомъ своимъ чувствовалъ окружающую его жизнь, проникалъ ее и любилъ.

Чеховъ—пессимистъ!

Нѣтъ, даже его смертельная болѣзнь не могла сдѣлать его пессимистомъ. Наоборотъ, чѣмъ ближе онъ подходилъ къ могилѣ, тѣмъ глубже, чище и возвышеннѣе звучала въ немъ вѣра въ людей и въ свѣтлое будущее. Что-то пророческое и торжественное слышалось въ его голосѣ сквозь печаль и сумракъ жизни, которую онъ заставлялъ какъ бы исповѣдываться передъ нами въ живыхъ творческихъ созданіяхъ. Иногда этотъ страдальческій голосъ возвышался до величаваго пафоса и тогда звучалъ красотой неземного очарованія, отъ которой изъ души рвались невольныя благодарныя слезы этому великому и еще мало понятому и оцѣненному у насъ поэту правды, печали и вѣры.

„Услышимъ ангеловъ! Увидимъ небо въ алмазахъ!"

Боже мой! У какого же пессимиста вырвется этотъ крикъ, переливающійся, какъ чистыя слезы на солнцѣ! Скорбь—не пессимизмъ. Скорбь—родная сестра вѣры для того, кто постигаетъ все несовершенство жизни, весь стихійный ужасъ ея, передъ которымъ мы часто оказываемся жалкими и безсильными. Только благороднѣйшимъ душамъ свойственна такая скорбь. Личная жизнь также не можетъ не окрашивать и не преломлять ее такъ или иначе, но не личная жизнь источникъ ея; этотъ источникъ лежитъ въ тѣхъ творческихъ нѣдрахъ души, гдѣ таинственно и чудно отзываются голоса жизни, ея внутренніе призывы и упованія.

Скорбь—не отчаяніе, точно также, какъ бодрость—не надежда.

Года три тому назадъ къ Чехову явился одинъ изъ его „поклонниковъ". Вмѣсто того, чтобы поблагодарить писателя за его удивительныя созданія, этотъ господинъ обрушился на Чехова съ упреками, отчего у него такъ много въ произведеніяхъ печали.

— Не такое теперь время! — громко восклицалъ онъ, бѣгая по кабинету Чехова.—Не такое время теперь, чтобы въ уныніе впадать да печалиться. Надо звать на борьбу! На борьбу!

Чеховъ кротко выслушивалъ этотъ урокъ. Ему были не новость эти выговоры. Его и критики и посѣтители не разъ учили, какъ надо писать и что надо писать. Ему грозили безвѣстностью, равнодушіемъ читателей, даже голодною смертью, если онъ не послушается ихъ. Чеховъ съ скорбной улыбкой, съ болью выслушивалъ все. Такъ и здѣсь онъ кротко выслушалъ эти нареканія.

— Вы не имѣете права, наконецъ, съ вашимъ талантомъ заниматься тѣми мелочами жизни, которыя постоянно встрѣчаются въ вашихъ разсказахъ! — громилъ его требовательный читатель. — Талантъ общественное достояніе и, слѣдовательно, вы должны служить обществу, сообразно его запросамъ и нуждамъ,

а не впадать въ грусть по поводу мелочныхъ несовершенствъ ея, не отдаваться личнымъ настроеніямъ.

Все бы это еще ничего, и филиппики, и громкій голосъ. Но гость закурилъ сигару, въ то время, какъ у Чехова въ кабинетѣ вывѣшена просьба не курить. Чеховъ закашлялся и, поддерживая надрывающуюся отъ кашля грудь, подошелъ къ телефону, который какъ разъ на высокой нотѣ прервалъ посѣтителя.

Съ трудомъ откашлявшись, Чеховъ сталъ слушать то, что ему говорили въ телефонъ, и черезъ нѣсколько мгновеній, опуская телефонную трубку, обратился къ гостю съ виноватымъ лицомъ:

— Извините, пожалуйста. Я долженъ оставить васъ. Мнѣ по телефону сообщили, что сейчасъ пришелъ пароходъ, на которомъ привезли мою жену: она опасно больна.

Этотъ фактъ мнѣ представляется чрезвычайно типическимъ для біографіи Чехова. Жизнь часто ставила его между такими острыми „рогатками“ и надо было имѣть великій запасъ свѣта въ душѣ, чтобы не только не перестать вѣрить, но и въ другихъ поддерживать вѣру. Не знаю, былъ ли религіозенъ Чеховъ, но Богъ его былъ Богъ безсмертной правды и состраданія.

Отецъ Антона Павловича былъ большимъ любителемъ церковнаго пѣнія и устроилъ изъ сыновей хоръ. Иногда они пѣли, какъ любители, въ дворцовой таганрогской церкви.

Чеховъ до конца жизни любилъ читать, какъ онъ выражался, про божественное, но заходя иногда въ комнатку Евгеніи Яковлевны и заставая ее за чтеніемъ четьи-минеи, Антонъ Павловичъ шутилъ:

— Что это вы, мамаша, все про божественное читаете. Почитали бы лучше пьесы господина Чехова.

Теперь, когда умеръ онъ, безконечно добрый, безконечно милый Антонъ Павловичъ, съ глубокой нѣжностью выплываетъ то одна, то другая черточка его жизни и всѣ онѣ свѣтятся, какъ трогательныя улыб-

ки его чистой и любящей души, и слезы невольно подступаютъ къ глазамъ при одномъ воспоминаніи о нихъ.

На другой или на третій день по отъѣздѣ Чехова изъ Одессы, въ одной изъ одесскихъ газетъ появился гаденькій фельетончикъ. Ни съ того, ни съ сего авторъ этого фельетона ошельмовалъ спутника Чехова В. С. М., выставивъ его прихвостнемъ Чехова, обвиняя его въ какихъ-то корыстныхъ расчетахъ, глумясь не только надъ его отношеніями къ Чехову, но и надъ его внѣшностью, и все это подъ видомъ „уваженія и преданности“ писателю. Чеховъ долго не могъ забыть этой инсинуаціи и чуть не полгода спустя говорилъ мнѣ, между прочимъ, съ горькимъ юморомъ:

— Вѣдь вотъ какъ не везетъ мнѣ: человѣкъ какъ будто хотѣлъ возвеличить меня и для этого обругалъ моего хорошаго знакомаго. Помните, какъ сѣкли товарища королевскаго сына, когда королевскій сынъ въ чемъ нибудь провинялся. Но вѣдь я же не королевскій сынъ, это первое, а второе—я не виноватъ, что у М. съ тѣмъ газетчикомъ какіе-то счеты.

Воображаю, какъ было пріятно близкимъ Чехова, когда онъ самъ уже ничего не чувствуетъ теперь, прочитать въ „Петербургск. Вѣд.“, какъ тотъ же одесскій журналистъ даже не пощадилъ имя умершаго писателя, чтобы пристегнуть къ нему еще разъ имя г. М. для сведенія маленькихъ счетовъ своихъ съ нимъ.

IV.

Вскорѣ послѣ первой встрѣчи съ Чеховымъ я собрался ѣхать за границу и, между прочимъ, намѣревался побывать во Флоренціи.

— Да, да, непремѣнно поѣзжайте туда. — совѣтовалъ Антонъ Павловичъ. — Удивительный городъ, съ

душой городъ! На свѣтѣ три такихъ города я знаю: Флоренція, Парижъ и Москва.

— А какой вамъ больше нравится?

— Конечно, Москва. Я ужасно какъ люблю Москву. Прекрасный городъ! Интересный!

Въ день отъѣзда я получилъ отъ Чехова даже адреса гостиницъ за границей, а также письмо по поводу только что напечатанной тогда въ „Жизни“ моей пьесы.

Я потому упомянулъ объ этомъ письмѣ, что потомъ, чисто-товарищеское отношеніе Чехова къ молодымъ писателямъ проявилось особенно трогательно. Я тутъ былъ только алгебраической величиной: на моемъ мѣстѣ могъ быть x, y, z.

Возвращался я въ Одессу черезъ Москву изъ Петербурга послѣ неудачной постановки на Александринской сценѣ той самой пьесы, о которой писалъ мнѣ Антонъ Павловичъ. Какъ то такъ случилось, что къ Чехову я могъ зайти только вечеромъ. Жилъ онъ въ особнячкѣ на большомъ дворѣ, на одной изъ тихихъ московскихъ улицъ.

Сквозь закрытыя ставни просачивался свѣтъ. Весь домъ былъ освѣщенъ.

Я позвонилъ.

Вышла горничная и заявила, что Антона Павловича нѣтъ дома.

Я отдалъ ей карточку и пошелъ обратно.

Слышу, уже около воротъ, бѣжитъ за мной кто-то: та-же горничная. Она бормочетъ обычныя въ этихъ случаяхъ фразы: Антонъ Павловичъ проситъ къ нему. Онъ думалъ, что незнакомый. Незнакомыхъ принимаютъ только днемъ и т. д.

Я вернулся. Антонъ Павловичъ встрѣтилъ меня въ передней. Ласково взялъ за руку и повелъ въ кабинетъ. Изъ другой комнаты доносились голоса, смѣхъ... Тамъ, повидимому, были гости.

Мнѣ стало неловко. Я извинился, что пришелъ вечеромъ, но завтра уѣзжаю и потому рѣшился зайти къ нему.

— Впрочемъ, я на минуту.

— Нѣтъ, нѣтъ, я радъ, что вы зашли,—отвѣтилъ Чеховъ на всѣ эти фразы.—Это хорошо...

Онъ усадилъ меня на диванъ въ своемъ маленькомъ кабинетѣ и, задумчиво пройдясь раза два изъ угла въ уголъ, остановился передо мной и съ своей доброй, ласковой улыбкой спросилъ, глядя мнѣ въ лицо:

— Вѣрно, вамъ еще очень тяжело?

И, зная, какой будетъ отвѣтъ на эти слова, продолжалъ, садясь рядомъ со мною:

— Это же ужасная вещь... Ставить пьесу. Никогда нельзя знать, что тебя ждетъ.

— У-у-жасная вещь!—протянулъ онъ съ чувствомъ жуткости передъ стихійностью такого факта. — Я это хорошо по себѣ знаю. Мнѣ шикали такъ, какъ ни одному автору не шикали. — И за „Лѣшаго“ и за „Чайку“. Я клялся и себѣ и другимъ, что не буду больше пьесы писать. А потомъ убѣдился, что все это не такъ важно. Надо только дѣлать то, что хочется, къ чему тянетъ. Время потомъ разберетъ лучше всякаго критика, что хорошо и что дурно.

Я только тяжело вздохнулъ на эти слова. Еще слишкомъ остра и жгуча была въ душѣ моей боль отъ этой неудачи, и Антонъ Павловичъ понялъ это и продолжалъ своимъ слабымъ, мягкимъ и ласковымъ голосомъ, который звучалъ почти торжественно, когда понижался, и вѣрилось каждому звуку этого голоса и не только вѣрилось, но и становилось легче на душѣ.

— Это ничего. Это даже хорошо иногда, въ молодости. А вѣдь вы молоды! Это отрезвляетъ и заставляетъ глубже и строже глядѣть на себя. Вѣрьте, незаслуженная обида часто возвышаетъ и обязываетъ больше, чѣмъ похвала и успѣхъ, которые легко достаются.

Я разсказалъ ему, что когда меня такъ шумно вызывали за „Буреломъ“, мнѣ было нѣсколько не по себѣ,

и я думалъ, что еслибы этотъ успѣхъ выпалъ мнѣ за „Старый домъ“, пьесу, которая тогда только что мной была окончена, я бы съ болѣе спокойной совѣстію принималъ эти оваціи. А вотъ, прошелъ годъ, и эта новая пьеса, которая была мнѣ безконечно дороже первой—ошикана!

— Почему вы не отдали ее въ „Художественный театръ“? — обратился ко мнѣ Чеховъ.—Вѣдь Вл. Ив. Немировичъ писалъ вамъ, что они согласны взять эту пьесу для своего театра.

— Да, но они хотѣли поставить ее только въ слѣдующемъ сезонѣ...

— Все равно, не надо было торопиться. Пьеса черезъ годъ только выиграла бы. Надо всегда дать полежать нѣкоторое время большой вещи, въ это время даже что-нибудь другое писать, а потомъ снова приняться за нее. Работать надо! Много работать! И чѣмъ дороже вещь, тѣмъ строже надо къ ней относиться. И потомъ, вотъ еще что! Зачѣмъ вы печатаете пьесы раньше постановки? Не надо! Во время постановки многое видишь... Даже на первыхъ репетиціяхъ... Какъ заговорятъ актеры, такъ сразу чувствуешь,— вотъ здѣсь — фальшь, а здѣсь — не своимъ языкомъ говоритъ какой-нибудь Иванъ Ивановичъ и даже не свое говоритъ. Вы думаете, поздно сейчасъ объ этомъ говорить. Нѣтъ, именно настоящее время. Работать надо! Работать! А это право же хорошо... Пострадать! Конечно, когда молодъ.—добавилъ Антонъ Павловичъ и сталъ подробно разспрашивать меня о постановкѣ моей злополучной пьесы.

Я еще раньше все порывался нѣсколько разъ уйти, боясь, что оторвалъ его отъ гостей, но Антонъ Павловичъ даже разсердился на меня.

— Да сидите же, не пущу я васъ... Мнѣ все это ужасно интересно. Я точно себя вижу послѣ „Чайки“.

Онъ разсмѣялся низкимъ, трогательнымъ смѣхомъ и спросилъ съ веселымъ добродушіемъ:

— Послѣ театра, ночью шатались по Петербургу?

— Шатался... Гдѣ-то около каналовъ... Глушь!.. Фабричныя трубы торчатъ... Тѣни какія-то мрачныя снуютъ...

— Такъ, такъ! И я тоже послѣ „Чайки“ шатался всю ночь, Богъ знаетъ гдѣ. Мнѣ казалось, что всѣ меня презираютъ и стыдно было на глаза людямъ показаться. — Отвратительное состояніе! — вдругъ прерывая смѣхъ, съ серьезнымъ лицомъ добавилъ Антонъ Павловичъ. — И вѣдь непріятнѣе всего то, что себя тутъ больше винишь и понять ничего не можешь. Даже передъ актерами какъ-то совѣстно, особенно передъ тѣми, которые играли хорошо, старались. Вотъ, напримѣръ, Комиссаржевская! Вѣдь она же очень хорошая актриса и хорошо въ „Чайкѣ“ играла, а ей тоже за меня пришлось отдуваться въ первый спектакль.

— За то потомъ „Чайка“ имѣла успѣхъ на Александринской сценѣ.

— Ну, какой ужъ успѣхъ! Настоящій успѣхъ съ Художественнаго театра начался... Такъ разсказывайте, разсказывайте, какъ они играли? Какъ Савина? Самойловъ? Аполлонскій?

Онъ снова присѣлъ около меня и сталъ слушать. И въ его молчаливомъ вниманіи, въ его улыбкахъ и кивкахъ головы, въ каждомъ движеніи его — было столько безконечной доброты, желанія ободрить, успокоить, что становилось легко и хотѣлось плакать отъ счастія, что на свѣтѣ есть такіе простые, свѣтлые, милые, чистые люди!

Вѣдь это былъ Чеховъ, могущество таланта котораго съ такой искренностью и правдою подтвердилъ Л. Н. Толстой. И этотъ большой, историческій человѣкъ, какъ старшій братъ, какъ товарищъ, съ обаятельной деликатностью и осторожностью старался облегчить мое горе, сгладить обиду, переживаемую мною.

Да и причемъ тутъ я! Также онъ отнесся бы и несомнѣнно такъ относился къ каждому, кто приходилъ къ нему, и, если Чеховъ не умретъ, какъ писа-

тель, также имя его будетъ жить, должно жить, вмѣстѣ съ его душою, озарявшей скорбной улыбкой любви все, что онъ писалъ, всѣхъ, кто обращался къ его участію.

Онъ, какъ геніальный психологъ, зналъ, что для ободренія, для успокоенія человѣка надо прежде всего какъ бы сравниться съ нимъ, какъ-бы отождествить свою душу съ его душою, а такъ какъ не было души, лучшія качества которой Чеховъ не носилъ бы въ своей душѣ, ему легко было сдѣлать это и онъ принималъ на себя горести этой чужой души, дѣлилъ ихъ, какъ братъ, какъ товарищъ, и оттого умеръ такъ легко, съ такой ясностью мысли и совѣсти.

Сейчасъ смотрю я на его портретъ, стоящій на моемъ письменномъ столѣ. Мелкимъ, четкимъ почеркомъ чернѣютъ сбоку портрета нѣсколько строкъ, написанныхъ рукой Чехова; и эта характерная линія его росчерка, идущая внизъ.

„1901 г. II, 19"—стоитъ дата на этомъ портретѣ. 19 февраля, день освобожденія Россіи отъ крѣпостнаго права. Почему именно на портретѣ значится этотъ день, а не какой-нибудь другой? Случайность? Да, конечно, случайность, не больше. Но эта же дата и на портретѣ, подаренномъ А. И. Куприну. Послѣ смерти такихъ людей, какъ Чеховъ, все, что напоминаетъ ихъ, каждая ихъ черта,—кажется знаменательной, и думается, что онъ, вѣрно, любилъ этотъ день, освободившій его предковъ отъ позора и ужаса рабства, возвратившій десяткамъ милліоновъ народа величайшее достояніе человѣка — свободу. Изъ нѣдръ земли, изъ глубины народнаго духа, много лѣтъ задавленнаго неволей, вмѣстѣ съ другими великими людьми вышелъ и Чеховъ, оттого и каждая буква, написанная имъ, сверкаетъ какъ чистѣйшая слеза скорби, оттого онъ такъ глубоко національнъ по духу своего творчества, кроткаго и стихійно могущественнаго въ своемъ отраженіи! На его произведенія исторія много лѣтъ спустя смѣло можетъ положиться,

какъ на вѣрнѣйшій и геніальнѣйшій діагнозъ, поставной мучительной эпохѣ, въ которую онъ жилъ, которая все же заставила его воскликнуть въ торжественномъ предвѣдѣніи:

„Услышимъ ангеловъ! увидимъ небо въ алмазахъ!“

Содержаніе:

Стр.

Чеховъ. Основные моменты его произведеній. *Ю. Айхенвальдъ* 3
Объ А. П. Чеховѣ. *М. Чеховъ* 43
Памяти Чехова. *И. Бунинъ* 61
А. П. Чеховъ. Отрывки изъ воспоминаній. *М. Горькій*. 83
Памяти Чехова. *А. Купринъ* 101
I. Въ сумерки. II. Изъ воспоминаній объ А. П. Чеховѣ. *В. Ладыженскій* 141
А. П. Чеховъ. *А. Ѳедоровъ* 159

5=
860/845

GENERAL BOOKBINDING CO.
70 '05T 53 005 2 3232
ITROL MARK

P28

PG 3458 .P28 C.1
Pamiati A. P. Chekhova :
Stanford University Libraries
3 6105 037 247 827

	DATE DUE		

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305